

Никогда больше не будет весны

Сергей Галактионов



Сергей Галактионов

Никогда больше не будет весны

«Автор»

2026

Галактионов С. В.

Никогда больше не будет весны / С. В. Галактионов — «Автор», 2026

Она попала в его мир случайно. Осталась — по выбору. Заплатила за это — всем. Ева — реставратор из Москвы, чужестранка без рода и имени в мире, где за чужаков сжигают. Адриан — проклятый полководец, чьё сердце обращается в камень. Она чинит его алхимией и собственной кровью. Он учится при ней дышать, смеяться и бояться смерти — впервые за три года войны. Их любовь — не вспышка, а медленное, упрямое склеивание двух сломанных людей. Она пахнет чернилами и серой. Она стоит седых прядей и немеющих пальцев. Она ведёт к морю, к белому дому, к свадьбе, к будущему.

Содержание

Глава 1	6
Глава 2	11
Глава 3	18
Глава 4	24
Глава 5	31
Конец ознакомительного фрагмента.	37

Сергей Галактионов

Никогда больше не будет весны

«Некоторые вещи ломаются, чтобы больше не склеиться. И мудрость — в том, чтобы не порезать пальцы об осколки. Но я видела слишком мало мудрых людей и слишком много осколков, чтобы верить в эту мудрость».

Глава 1

Запах чернил и чужого неба

Я обещал себе, что не буду писать об этом.

Три года я держался — три года, как они ушли, а я остался, как дурак, которому доверили стеречь пустой дом. Я говорил себе: не трогай перо, не марай бумагу, потому что слова — это ловушка. Стоит начать, и ты уже не остановишься, а когда остановишься, окажется, что ты рассказал всё, кроме главного, потому что главное рассказать невозможно. Главное — это тишина в спальне наверху. Это недопитая чашка чая на подоконнике, которую я не могу убрать, хотя чай давно высох и превратился в коричневое пятно, похожее на старую карту несуществующей страны. Это кот, который до сих пор спит на её подушке и мурлычет во сне, словно ему снится, что она вот-вот вернётся.

Но дом пустует, и ветер треплет занавеси, которые она так и не успела повесить — они лежат свёрнутые в сундуке, синие, под цвет моря, — и я думаю: если я не расскажу, кто расскажет? Их больше нет. А история, которую не рассказали, умирает второй раз, и эта вторая смерть — самая страшная, потому что после неё не остаётся даже пепла.

Поэтому я пишу. Начиная с самого начала — с того дня, когда небо над Гримвальдом треснуло, как стекло, и из трещины выпала женщина в странных штанах из синей ткани, со скальпелем в руке и очками на носу, и мир, который мы знали, закончился.

Хотя тогда мы этого, разумеется, не знали. Мы думали, что это просто ещё один скверный день на Северном Рубеже. А скверных дней у нас хватало.

Но я забегая вперёд. Это дурная привычка старых солдат — мы всегда торопимся к концу, потому что конец — единственное, в чём мы уверены. Начну, как положено, с начала. С Москвы. С запаха чернил.

Хотя, клянусь угасшим пламенем, я до сих пор не знаю, где эта Москва и почему от неё пахнет чернилами.

Подвал Исторического музея в Москве пах так, как пахнут все подвалы, в которых хранится прошлое: пылью, клеем, сухой бумагой и чем-то неуловимо сладковатым — запахом времени, которое давно истекло, но не успело выдохнуться до конца.

Ева Миронова сидела за рабочим столом, сторбившись над кодексом XIV века, и не замечала ни запаха, ни времени, ни того, что чай в кружке давно остыл и покрылся плёнкой, похожей на пергамент. Часы на стене показывали половину второго ночи. В подвале не было ни одного окна, и если бы не лампа дневного света, гудевшая над головой, как рассерженная пчела, можно было бы подумать, что время здесь остановилось ещё при Иване Грозном.

Кодекс был безымянным. Его нашли полгода назад в тайнике Троице-Сергиевой лавры, завернутым в промасленную тряпку и засунутым в щель между камнями так глубоко, что потребовалось долото, чтобы его извлечь. Переплёт — в состоянии, которое Ева мысленно классифицировала как «катастрофическое с элементами апокалипсиса»: кожа потрескалась и местами отслоилась, нити корешка сгнили, страницы слиплись в монолит, который предстояло разделять скальпелем и паром, молясь всем святым, чтобы чернила не потекли. Работа на полгода, если не на год. Работа мечты.

Ева любила такие книги. Не потому, что они были красивыми — красивых книг хватало в витринах наверху, за стеклом, под охраной и сигнализацией, — а потому, что они были сломанными. А сломанную вещь можно починить, и в этом был весь смысл её существования. Всё, что можно починить, — уже не сломано до конца. Это был её девиз, её молитва, её способ оправдать то, что она провела двадцать семь лет на земле, не оставив после себя ничего, кроме отреставрированных переплётов и мёртвой рыжей кошки, чья фотография до сих пор светила на заставке телефона.

Кошку звали Грета. Она умерла в марте, от почек, тихо, на той же подушке, на которой спала двенадцать лет. Ева похоронила её на даче, под яблоней, и вернулась в Москву, и не убрала фотографию с телефона, и не стала заводить новую кошку, потому что новая кошка — это новая смерть через двенадцать лет, а Ева не была уверена, что у неё хватит прочности на ещё одну потерю. Она и с этой-то справлялась так себе.

Телефон лежал на краю стола, экраном вниз. Три пропущенных от мамы. Ева не перезвонила — не потому, что не хотела, а потому, что мама спросит, поела ли она, и Ева сойдёт, что поела, и мама спросит, не завела ли она кого-нибудь, и Ева сойдёт, что завела, и обе будут знать, что это ложь, и обе сделают вид, что верят, и от этого будет ещё тоскливее, чем от тишины. Поэтому Ева не перезванивала. Тишина была честнее.

Она вернулась к кодексу. Скальпель в правой руке, кисть в левой, лупа на лбу, как третий глаз. Она работала над корешком — тем местом, где переплёт крепится к книжному блоку, — и слой за слоем снимала сгнившую кожу, обнажая нити и картон. Работа требовала хирургической точности: одно неверное движение — и лезвие прорежет страницу, и шестьсот лет истории превратятся в конфетти. Ева не дрожала. У неё были руки реставратора — длинные пальцы, твёрдые запястья, мозоли на подушечках от скальпеля и кисти. Руки, которые чинили чужие миры, пока свой оставался в черновике.

И тогда она нашла кристалл.

Он был зашит в корешок, между слоями кожи и картона, — крошечный, не больше горошины, тёмно-фиолетовый, с гранями, которые не могли быть естественными. Ева нахмурилась. В средневековых переплётках иногда находили зашитые предметы — монеты, мощи, записки с молитвами, — но кристалл? Фиолетовый? Пульсирующий едва заметным светом, который мог быть игрой лампы, а мог и не быть?

Она приблизила лупу. Кристалл лежал в гнезде из воска и пепла, и вокруг него кожа переплёта была не гнилой, а обугленной, словно шестьсот лет назад здесь полыхнул огонь и погас, не успев сжечь книгу целиком. Ева провела пальцем по обугленному краю и почувствовала покалывание — лёгкое, электрическое, как от статического разряда.

— Интересно, — пробормотала она вслух, потому что в подвале не было никого, кому можно было бы сказать это громче.

Она взяла пипетку и нанесла на воск вокруг кристалла каплю реактива — стандартный раствор для размягчения органического клея, которым она пользовалась сотни раз. Реактив коснулся воска.

И мир взорвался.

Позже Ева будет пытаться вспомнить, что именно произошло, и каждый раз воспоминание будет разным. То ей казалось, что кристалл вспыхнул, как звезда, и свет залил подвал, выжигая тени из углов. То — что пол ушёл из-под ног, как люк эшафота, и она полетела вниз, в чёрную бездну, пахнущую озоном и гарью. То — что пространство вокруг неё скрутилось, как горящий пергамент, и она оказалась внутри этого свёртка, спрессованная между слоями реальности, как засушенный цветок между страницами книги.

Но в тот момент она не думала ни о чём. Она только успела сжать скальпель в руке — рефлекс, глупый и бессмысленный, как будто лезвием в три сантиметра можно защититься от того, что разрывает ткань мироздания, — и почувствовать, как запах чернил сменяется чем-то другим. Чем-то холодным. Чем-то, пахнущим снегом, железом и чужим небом.

Потом ударила темнота. И тишина. И каменный пол под спиной, твёрдый, как приговор.

Первое, что Ева почувствовала, когда пришла в себя, — холод. Не московский, не тот уютный подвальный сквозняк, к которому она привыкла за годы работы, а холод настоящий, злой, кусающий, проникающий под кожу, как иглы. Камень под спиной был мокрым. Воздух пах сыростью, ржавчиной и чем-то горелым — не бумагой, а чем-то органическим, живым, недавно сгоревшим.

Она открыла глаза. Темнота. Потом — мерцание. Факел на стене, в трёх метрах от неё, горел неестественным синим пламенем, без копоти, без треска, ровно и холодно, как газовая горелка. Ева моргнула. Синий огонь. Она никогда не видела синего огня, кроме как в химических опытах на первом курсе университета, и даже тогда он не выглядел так — так спокойно, так уверенно, словно пламя знало, что оно не от этого мира.

Не от этого мира.

Мысль пришла не как паника, а как констатация. Ева села, ощупала себя: джинсы целы, свитер цел, очки на носу (одно стекло треснуло, но держалось), скальпель в правой руке, в кармане — клочок пергамента и огрызок карандаша, которые она всегда носила с собой, потому что привычка — вторая натура, а у реставратора привычек больше, чем у кота блох. Телефон — она похлопала по карманам — телефона не было. Потерялся при падении. Или при взрыве. Или при том, что это было.

Она огляделась. Каменные стены, грубо обтёсанные, с вкраплениями каких-то кристаллов в растворе между блоками — кристаллы тускло мерцали, как светлячки, застывшие в янтаре. Потолок — сводчатый, низкий, давящий. Пол — каменные плиты, мокрые, в трещинах. Дверь — дубовая, окованная железом, закрытая. Подземелье. Настоящее, не декорация, не квест, не сон.

Ева встала. Ноги дрожали, но держали. Она подошла к стене и провела пальцем по кладке — профессиональный рефлекс, сработавший раньше разума. Камень был не кирпичом и не известняком, а чем-то вулканическим, пористым, с прожилками кварца. Такая кладка не встречалась ни в одном памятнике, который она реставрировала, а она реставрировала памятники от Новгорода до Самарканда.

— Это не Москва, — сказала она вслух. Голос прозвучал глухо, как в склепе. — Это не Москва, и это не сон, и у меня нет телефона.

Она стояла в подземелье, в джинсах и свитере, со скальпелем в руке и треснувшими очками на носу, и пыталась собрать мысли в кучу, как собирают рассыпанные страницы кодекса — по порядку, по номерам, не торопясь, потому что спешка рвёт бумагу.

Факты. Факт первый: она в неизвестном месте. Факт второй: это место — не её мир. Факт третий: кристалл в переплёте кодекса каким-то образом перенёс её сюда. Факт четвёртый: она не знает, как вернуться. Факт пятый: паника не поможет, а только сожрёт кислород, которого в подземелье и так немного.

Ева достала из кармана клочок пергамента и огрызок карандаша. Под светом синего факела она провела первую черту — короткую, твёрдую, как штрих на стене тюремной камеры.

Штрих номер один.

Дверь распахнулась.

Свет из коридора ударил в глаза, и Ева отшатнулась, прикрыв лицо рукой. В проёме стояли трое — мужчины в кожаных доспехах, с копьями и мечами, с лицами, обветренными и жёсткими, как сама каменная кладка. Они кричали. Громко, быстро, на языке, который Ева не знала и не могла идентифицировать: не латынь, не старофранцузский, не старославянский, не немецкий — что-то гортанное, рубленое, с шипящими согласными и раскатистым «р», от которого вибрировали стены.

Один из них ткнул копьём в её сторону и рявкнул вопрос. Ева не поняла ни слова, но интонацию поняла отлично — эту интонацию она слышала в Москве от полицейских, от охранников в метро, от вахтёров в общежитии: «Кто ты? Что ты здесь делаешь? Документы!»

— Я не понимаю, — сказала она, поднимая свободную руку. Скальпель в другой руке она предусмотрительно спрятала за спину. — Я не отсюда. Я не говорю на вашем языке.

Они не поняли её так же, как она не поняла их. Но слово «нет» — универсальное, и жест поднятых рук — тоже. Солдаты переглянулись, потом один из них грубо схватил её за плечо и потащил к двери. Ева не сопротивлялась — не потому, что испугалась, а потому, что

три солдата с копьями против реставратора со скальпелем — это не тот бой, в котором стоит искать славу.

Её повели по коридорам. Камень, факелы, сквозняки, запах дыма и пота, лязг металла из-за закрытых дверей, крики на незнакомом языке. Крепость. Настоящая, действующая, с гарнизоном, с оружейными складами, с бойницами, через которые врывается ледяной ветер. Ева считала повороты — привычка, выработанная годами работы в лабиринтах музейных хранилищ, — и насчитала семь поворотов, три лестницы и одну дверь, за которой пахло лошадьми и сеном. Конюшня. Значит, они на первом этаже или в подzemелье под ним.

Солдаты бросили её в камеру и захлопнули дверь. Замок лязгнул с финальностью приговора.

Камера была маленькой — три шага в длину, два в ширину, — с каменным полом, соломой в углу и крысой, которая посмотрела на Еву с профессиональным интересом и решила, что она не представляет гастрономической ценности. Окна не было. Свет проникал через щель под дверью — тусклый, жёлтый, живой, в отличие от синего факела в подzemелье.

Ева села на солому. Солома была мокрой и пахла плесенью. Она сняла очки, протёрла треснувшее стекло краем свитера, надела обратно. Мир стал чуть чётче, хотя от этого не стал понятнее.

Она достала пергамент и карандаш. Под штрихом номер один написала, по-русски, мелким почерком реставратора, привыкшего экономить место на полях:

«День 1. Жива. Пока. Язык неизвестен. Мир неизвестен. Телефон потерян. Скальпель при мне. Кошки нет».

Последнее слово она подчеркнула дважды. Не потому, что это было важно для выживания, а потому, что Греты не было, и от этого было холоднее, чем от каменного пола, и от ледяного ветра, и от синего огня, который горел без тепла.

Она не знала, сколько времени просидела в темноте. Час? Два? Время в камере течёт иначе, чем на воле, — оно сворачивается в клубок, как кошка, и засыпает, и ты сидишь в его складках, и не понимаешь, день сейчас или ночь, и есть ли разница.

Потом замок лязгнул снова.

Дверь открылась, и в камеру вошёл человек, который заполнил собой всё пространство — не физически, хотя он был высок, очень высок, и плечи его едва не задевали косяки, — а как-то иначе, как заполняет комнату шторм, когда распахивают ставни. Чёрный плащ, заляпанный грязью и чем-то тёмным, что Ева предпочла не опознавать. Высокие сапоги, оставляющие на камне следы, за которые любого слугу отправили бы на конюшню. Лицо — резкое, аристократичное, обветренное, как скала, с шрамом на левой скуле и ранней сединой у висков, которая не вязалась с его возрастом — ему было чуть за тридцать, не больше. Глаза — серые, стальные, с той особенной усталостью, которая бывает у людей, давно переставших ждать хорошего.

Он посмотрел на Еву так, как смотрят на бомбу, которая может взорваться в любую секунду, — без страха, но с расчётом. Его взгляд скользнул по её джинсам (непонимание), по свитеру (непонимание), по очкам (непонимание), по скальпелю, который она всё ещё сжимала в руке (настороженность), и остановился на её лице.

Он сказал что-то. Одна фраза, короткая, рубленая, произнесённая голосом, который звучал так, словно кто-то провёл клинком по струне — низко, с металлическим обертоном, от которого вибрировали кости.

Ева не поняла ни слова. Но она поняла тон. Это был тон человека, который привык отдавать приказы и не привык к тому, что их не выполняют. И в этом тоне, за слоями жёсткости и усталости, было что-то ещё — что-то хрупкое, надломленное, как трещина на фарфоре, которую не заметишь, пока не поднесёшь вещь к свету.

Ева подняла голову, посмотрела ему в глаза и сказала единственное, что пришло в голову, — на русском, чётко, с той интонацией, с которой она объясняла курьерам, что посылку нужно нести осторожно:

— Я не понимаю. Но я не ваш враг.

Он не понял её так же, как она не поняла его. Но он задержался на секунду — одну лишнюю секунду, которая не полагалась по протоколу допроса пленной шпионки, — и в его серых глазах мелькнуло нечто, что при большом желании можно было счесть любопытством.

Потом он повернулся и вышел. Плащ его метнулся за ним, как тень, и дверь захлопнулась, и замок лязгнул, и Ева осталась одна с крысой, соломой и запахом чужого мира.

Но перед тем как дверь закрылась, она успела заметить кое-что. За спиной человека в чёрном плаще стоял другой — рыжий, веснушчатый, с ухмылкой, которая не сходила с его лица даже в каменном подземелье посреди ночи. Рыжий что-то шепнул чёрному, кивнув в сторону Евы, и чёрный бросил ему короткий ответ, не оборачиваясь. Рыжий ухмыльнулся ещё шире.

Дверь захлопнулась.

Ева посмотрела на пергамент в своей руке. На штрих номер один. На надпись «День 1. Жива. Пока».

Она добавила, мелким почерком, в уголке:

«Он тоже жив. Пока».

Она не знала, почему написала это. Она не знала, кто этот человек с серыми глазами и трещиной в голосе, и почему его усталость отозвалась в её груди, как эхо в пустом зале. Она не знала, что его зовут Адриан де ла Верн, что он лорд-маршал Северного Рубежа, что его сердце медленно превращается в камень, и что через двести сорок семь дней он умрёт у неё на руках в саду, полном белых роз, в утро, которое обещало быть лучшим в их жизни.

Она ничего этого не знала.

Она просто сидела в камере, в чужом мире, в джинсах и треснувших очках, и думала о том, что всё, что можно починить, — уже не сломано до конца. И если она здесь, значит, и это можно починить.

Вопрос — чем.

Крыса в углу шевельнула усами, словно соглашаясь.

За стеной выл ветер. Где-то далеко, за каменными стенами крепости, за горами, за Пустошами, за всем, что Ева ещё не знала и не могла вообразить, шумело море. Синее, солёное, бескрайнее. Море, которое Адриан де ла Верн мечтал увидеть всю свою жизнь и которое он так и не увидит.

Но это будет потом.

А пока был день первый. И штрих на пергаменте. И запах чернил, который ещё не выветрился из её волос, — последний запах её старого мира, державшийся на ней, как призрак, как обещание, как клятва, которую она ещё не давала, но уже нарушила.

Факел в коридоре мигнул.

Ночь в Корвале только начиналась.

Глава 2

Допрос и три слова

Три дня в камере — это достаточно, чтобы сойти с ума, и недостаточно, чтобы к этому привыкнуть.

Ева не сошла. Во-первых, потому что реставраторы — люди терпеливые по профессии: она однажды потратила четырнадцать месяцев на разделение двух слипшихся страниц псалтыря, и каждый день этого процесса был похож на пытку, только без инквизиции и с чаем. Во-вторых, потому что у неё был пергамент, карандаш и крыса, которую она назвала Гретой Второго Пришествия — в честь покойной кошки, хотя крыса была серой, наглой и совершенно не похожей на рыжую аристократку, спавшую на подушках. Грета Вторая жила в щели между камнями, выходила по ночам и смотрела на Еву с выражением, которое можно было истолковать как сочувствие, а можно — как гастрономический интерес.

Три дня. Еда — миска каши, которую просовывали под дверь дважды в сутки, и кружка воды, пахнущей железом. Свет — тусклая полоса из-под двери, по которой Ева научилась определять время суток: утром полоса была жёлтой, днём — белой, вечером — оранжевой, ночью — чёрной. Звуки — лязг оружия, крики на незнакомом языке, топот сапог по камню, далёкий гул ветра, который никогда не стихал, словно крепость стояла на краю мира и ветер дул из пустоты.

На третий день, когда полоса света была белой и Ева сидела, прислонившись к стене, и считала трещины в потолке (двадцать три, если не считать ту, которая была скорее морщиной, чем трещиной), замок лязгнул, и дверь открылась.

На этот раз солдат не было. В проёме стояла женщина — пожилая, невысокая, с седыми косами, уложенными вокруг головы, как корона, и с тростью из тёмного дерева, на которой были вырезаны какие-то символы, похожие на алхимические знаки. Лицо её было из тех, которые не стареют, а вызревают, — морщины не уродовали его, а придавали ему ту особенную глубину, которая бывает у старых икон и у людей, видевших слишком много смертей, чтобы бояться ещё одной. Глаза — карие, тёплые, с хитрым прищуром, который говорил: «Я знаю о тебе больше, чем ты сама, но не буду этим хвастаться, потому что у меня нет на это времени».

Женщина вошла в камеру, оглядела Еву, оглядела крысу, оглядела пергамент со штрихами, кивнула, словно нашла то, что искала, и села на солому прямо напротив Евы, не обращая внимания на то, что солома мокрая, а её платье — из ткани, которая стоила дороже, чем вся камера вместе с крысой.

Она сказала что-то на корвальском. Ева покачала головой.

Женщина не удивилась. Она поставила трость рядом с собой, подняла руки и начала показывать жесты — медленные, чёткие, выразительные, как у глухонемого актёра, играющего Шекспира для глухонемой аудитории. Жесты были странными: не бытовыми, не пантомимой, а какими-то структурированными, с повторяющимися элементами, с синтаксисом, который Ева, лингвист-любитель, мгновенно опознала.

Это был язык. Не разговорный — ритуальный. Язык жестов, созданный для общения между людьми, которые не могут говорить вслух, — алхимиками, работающими в тишине лабораторий, где любое лишнее слово может нарушить хрупкое равновесие реакции.

Ева знала этот тип систем. В её мире их называли профессиональными жаргонами — языком жестов водолазов, языком жестов биржевых трейдеров, языком жестов библиотекарей, которые не хотят будить читателей. Она не знала этих конкретных жестов, но она понимала принцип, и это было главное.

Она подняла руки и показала жест, который, по её догадке, должен был означать «я не понимаю» — раскрытые ладони, покачивание головой, пожатие плечами. Универсальная пантомима, работающая в любом мире, где есть плечи и головы.

Женщина улыбнулась. Улыбка у неё была такая, от которой хотелось рассказать ей всё — от имени до пароля от банковской карты. Она снова показала жесты, на этот раз медленнее, и сопровождала их картинкой, нарисованной пальцем на пыльном полу камеры: круг, внутри — точка, вокруг — лучи. Солнце. Потом она указала на себя, потом на Еву, потом на круг, потом развела руки в стороны, изображая вопрос.

«Кто ты? Откуда ты? Почему ты здесь, когда солнце в зените, а ты сидишь в темноте, как крот?» — так Ева истолковала эту пантомиму, и, как выяснилось позже, истолковала почти верно, если не считать крота, которого женщина не имела в виду.

Ева указала на себя и сказала: «Ева». Потом нарисовала на полу рядом с солнцем женщины свой символ — книгу. Раскрытую, с страницами, с буквами. Женщина наклонилась, рассмотрела рисунок, и в её глазах вспыхнул интерес — острый, профессиональный, узнающий. Она коснулась рисунка книги и показала жест, который Ева позже выучит как «знание», а потом другой жест — «алхимия».

Так они просидели два часа. Женщина — её звали Изольда, и это имя Ева угадала по движению губ, потому что Изольда произносила его медленно и чётко, как для ребёнка, — рисовала на полу картинки и показывала жесты, а Ева кивала, качала головой и пыталась собрать из обрывков пантомимы хоть какое-то подобие смысла. Это было похоже на реставрацию кодекса, от которого уцелели только фрагменты: здесь — слово, там — образ, между ними — дыры, которые приходилось заполнять догадками и интуицией.

Изольда поняла главное: эта женщина не из Пустошей. Не из Корваля. Не из этого мира. И она не шпионка, потому что шпионки не рисуют книги на полу камеры и не смотрят на алхимические жесты с таким жадным, профессиональным любопытством.

Изольда встала, отряхнула платье, взяла трость и показала Еве жест, который не требовал перевода: «Жди. Я вернусь».

Ева кивнула. Крыса Грета Вторая посмотрела на Изольду с осуждением — видимо, за то, что та не принесла еды, — и ушла в щель.

Адриан де ла Верн не любил допросы.

Он любил битвы — в них всё было честно: ты убиваешь или тебя убивают, и никаких полутонов. Он любил стратегию — в ней всё было логично: фланги, тылы, резервы, и если ты проиграл, значит, ты был глупее противника, а не подлее. Он любил стены своей крепости — в них всё было надёжно: камень, известь, три метра толщины, и никакая тварь из Пустошей не пробьёт их, пока Адриан стоит наверху.

Но допросы — это болото. В допросах нет честности, нет логики и нет надёжности. В допросах люди врут, молчат, плачут, кричат, и ты никогда не знаешь, где кончается правда и начинается отчаяние, а Адриан ненавидел неопределённость больше, чем тени, больше, чем проклятие, больше, чем собственное сердце, которое стучало в его груди, как треснувший колокол.

Он стоял в допросной комнате — каменный зал на втором этаже, с одним окном, выходящим на внутренний двор, и с дубовым столом, на котором лежали карта Корваля, кинжал и кружка разбавленного вина, — и ждал, пока Изольда приведёт чужестранку. Кассьен сидел на подоконнике, болтая ногами, и чистил яблоко ножом, который был длиннее его предплечья.

— Ты зря её мучаешь, — сказал Кассьен, не поднимая глаз от яблока. — Три дня в подвале — это перебор даже для шпионки. А она не шпионка.

— Ты знаешь это наверняка? — спросил Адриан, не оборачиваясь.

— Я знаю, что шпионки не рисуют книжки на полу и не разговаривают с крысами. Мои люди доложили. Она назвала крысу каким-то странным именем и кормит её своей кашей. Шпионки так не делают. Шпионки экономят кашу для побега.

— Или для того, чтобы отравить крысу и бросить её в колодец, — сказал Адриан.

Кассьен поднял бровь.

— Ты серьёзно думаешь, что женщина в штанах из синей тряпки, с треснутыми стёклами на носу и скальпелем размером с мой мизинец — агент Теневого Короля?

— Теневой Король мёртв три года.

— Вот именно. Мёртв. Три года. У мёртвых нет агентов. У мёртвых есть только наследники, а наследники у него — тени, а тени не носят штаны.

Адриан не ответил. Он смотрел в окно, на двор, где солдаты тренировались с деревянными мечами, и думал о том, что Кассьен прав, как всегда, и что это бесит его больше, чем если бы Кассьен был неправ. Потому что если Кассьен прав, значит, в его крепости, в его подземелье, в его мире, появилась женщина, которая не вписывается ни в одну из известных Адриану категорий, а Адриан не умел обращаться с тем, что не вписывалось в категории.

Дверь открылась. Изольда вошла первой, опираясь на трость, с выражением лица, которое Адриан знал лучше, чем собственное отражение, — выражением человека, который собирается сообщить тебе что-то важное и неприятное, но сначала насладится твоим замешательством. За ней — чужестранка.

Адриан посмотрел на неё и невольно отметил детали — привычка командира, оценивающего угрозу за секунды. Рост — средняя, ниже его на голову. Телосложение — худощавое, но не хрупкое, с теми жилистыми запястьями, которые бывают у людей, работающих руками. Одежда — странная: синие штаны из плотной ткани, какой он не видел ни в одной провинции Корваля, серый свитер крупной вязки, на ногах — странные башмаки без каблуков, с плоской подошвой, словно она собиралась не ходить, а скользить. На носу — конструкция из металла и стекла, одно стекло треснуто, но держится. Волосы — тёмно-русые, собранные в небрежный пучок, из которого выбивались пряди, и в этих прядях, если приглядеться, всё ещё мерцали пылинки, пахнущие чем-то далёким и незнакомым.

Чернилами. От неё пахло чернилами. Адриан не знал, почему обратил на это внимание, и не знал, почему этот запах зацепил его, как крючок зацепляет рыбу, — тихо, незаметно, и уже не отпустишь.

Чужестранка смотрела на него без страха. Это его удивило. Обычно люди, которых приводили в допросную комнату Гримвальда, смотрели на него либо с ужасом, либо с ненавистью, либо с той жалкой покорностью, которая бывает у пленных, уже решивших, что они умрут. Эта женщина смотрела на него с любопытством — тем же самым, с каким она, по словам Изольды, рассматривала алхимические жесты на полу камеры. Словно он был не лордом-маршалом Северного Рубежа, а ещё одной трещиной в стене, которую нужно изучить, классифицировать и, если возможно, заделать.

— Садитесь, — сказал Адриан, указывая на стул напротив себя. Потом вспомнил, что она не понимает, и кивнул на стул.

Ева села. Изольда устроилась между ними, как арбитр на дуэли, и положила трость на стол рядом с кинжалом Адриана — жест, который Адриан оценил как вызов, но промолчал.

Допрос начался.

Адриан задавал вопросы. Изольда переводила их в жесты. Ева отвечала жестами, которые Изольда переводила в слова. И всё было бы нормально, если бы не одна деталь: Ева была саркастична, а Изольда не знала, как перевести сарказм на язык алхимических жестов.

— Спросите её, откуда она пришла, — сказал Адриан.

Изольда показала жесты: «откуда» + «путь» + «направление».

Ева поняла вопрос и ответила развёрнуто, на русском, зная, что её не поймут, но не в силах удержаться:

— Я пришла из подвала Исторического музея в Москве, через кристалл, зашитый в переплёт кодекса XIV века, в результате алхимической реакции, которую я не планировала и за которую мне, вероятно, не заплатят. Но я понимаю, что это звучит неубедительно, поэтому давайте я просто скажу «ниоткуда» и мы все сэкономим время.

Изольда посмотрела на неё, потом на Адриана, потом снова на Еву, и показала жесты, которые, по её мнению, передавали суть ответа: «далеко» + «книга» + «огонь» + «не знаю».

Адриан нахмурился.

— Что значит «далеко, книга, огонь, не знаю»? Она что, подожгла библиотеку и сбежала?

— Возможно, — сказала Изольда с невозмутимостью человека, который переводит уже третий час и начинает получать от этого извращённое удовольствие. — Или она говорит, что пришла из далёкой страны, где книги горят. У них, может, такие обычаи.

— Обычаи сжигать книги? — Адриан посмотрел на Еву с новым подозрением. — Это варварство. Даже тени не сжигают книги. Они их едят.

Ева, не понимая слов, но улавливая интонацию, сказала:

— Если вы обсуждаете мои литературные предпочтения, то я предпочитаю не сжигать, а реставрировать. Но спасибо за заботу.

Изольда перевела: «книги» + «любовь» + «нет огонь» + «клей».

Адриан потёр переносицу. У него начинала болеть голова — не от проклятия, а от абсурда.

— Спросите её, знает ли она Теневого Короля.

Изольда показала жесты: «тень» + «король» + «смерть» + «знаешь?».

Ева поняла слово «король» по жесту короны над головой и покачала головой:

— У нас тоже были короли, но они давно кончились. Остался только один, и тот — в картах. Но теневого среди них не припомню. Хотя, если честно, некоторые из них были настолько тенистыми, что разница невелика.

Изольда, сдавшись, показала Адриану жест «нет» и добавила от себя: «Она говорит, что в её мире короли — это картонные фигуры для игр. Теневых нет. Но были похожие».

Кассьен, до сих пор молчавший на подоконнике, вдруг фыркнул.

— Картонные короли! — воскликнул он, спрыгивая с подоконника и подходя к столу. — Адриан, она из страны, где королей делают из картона! Представляешь, какой у них бюджет на армию?

— Кассьен, — сказал Адриан тоном, от которого молоко скисало. — Заткнись.

— Я просто говорю, что если у них картонные короли, то их тени, наверное, тоже картонные. Мы могли бы победить их ножницами.

Адриан посмотрел на Кассьена так, что тот замолк, но ухмылка не сошла с его лица — она просто стала тише, как пламя, которое прикрывают ладонью, но не тушат.

Ева смотрела на рыжего с недоумением. Она не понимала слов, но понимала динамику: чёрный плащ — начальник, рыжий — подчинённый, который не боится начальника, а значит, либо друг, либо идиот. Судя по ухмылке — и то, и другое.

— Ладно, — сказал Адриан, отодвигая кружку с вином и разворачивая на столе карту Корваля. — Хватит пантомимы. Пусть она посмотрит на карту и покажет, откуда она пришла.

Карта была красивой — нарисованной от руки на телячьей коже, с горами, реками, лесами и городами, обозначенными золотыми точками. На севере — Чёрные Пики и серое пятно Пустошей. В центре — Сан-Эльмер, столица, с золотым кружком вокруг. На юге — синяя полоса моря Альвера. На западе — горные перевалы. На востоке — болота и пустоши.

Изольда подвинула карту к Еве и показала жест: «где?».

Ева посмотрела на карту. Она узнала географию — не конкретную, а типологическую: вытянутое королевство, горы на севере, море на юге, столица в центре. Классическая схема, как в учебнике по исторической географии. Но ни один из контуров не совпадал с тем, что она знала. Это не Европа. Не Азия. Не Америка. Это другой мир.

Она взяла перо, лежавшее рядом с картой, обмакнула его в чернильницу и на чистом углу пергамента нарисовала Землю. Континенты — грубо, но узнаваемо: Евразия, Африка, обе Америки, Австралия. Океаны. И маленькую точку на западе Евразии, которую она подписала, по-русски: «Москва».

Адриан посмотрел на рисунок. Потом на Еву. Потом снова на рисунок.

— Что это? — спросил он.

Изоolda перевела жестом: «что?».

Ева указала на рисунок, потом на себя, потом на точку с надписью «Москва», и сказала медленно, чётко, как говорят с иностранцами:

— Мой мир. Мой дом. Я — отсюда.

Адриан не понял слов, но понял жесты. Он смотрел на рисунок континентов — на эти странные, кривые формы, которые не походили ни на одну известную ему землю, — и в его серых глазах мелькнуло нечто, что Ева позже научится распознавать как сомнение, смешанное с надеждой. Сомнение — потому что он не верил в чужие миры. Надежда — потому что если она действительно из другого мира, значит, она не шпионка, и ему не придётся её казнить, а он не любил казнить женщин, хотя и делал это, когда приходилось.

Кассьен заглянул через плечо Адриана, рассмотрел рисунок и сказал:

— Похоже на кляксу.

Ева не поняла слов, но поняла тон — насмешливый, добродушный, беззлобный. Она посмотрела на рыжего и впервые в этом мире улыбнулась — коротко, нервно, но искренне, уголком рта, как улыбаются люди, которые три дня просидели в камере с крысой и только что осознали, что мир вокруг них — не декорация, а реальность, и эта реальность абсурдна, и от этого абсурда хочется либо плакать, либо смеяться, и смех — дешевле.

Кассьен моргнул, потом ухмыльнулся ещё шире и сказал что-то Адриану. Адриан бросил на него взгляд, от которого Кассьен замолк, но не раскаялся.

— Она из другого мира, — сказал Адриан тихо, больше себе, чем остальным. — Или она сумасшедшая.

— Или и то, и другое, — сказала Изоolda. — У сумасшедших, как и у чужестранцев, есть одно полезное свойство: они часто видят то, что нормальные пропускают.

Адриан проигнорировал это замечание, свернул карту и встал. Он подошёл к Еве — близко, ближе, чем полагалось по этикету допроса, — и наклонился, чтобы его лицо оказалось на уровне её лица. Его серые глаза были в полуметре от её серо-зелёных, и Ева почувствовала запах его плаща — кожа, дым, мороз и что-то металлическое, как запах крови, которую пытались отмыть, но не до конца.

Он заговорил медленно, чётко, разделяя слова, как режут хлеб — на ровные, понятные куски. Он не знал, поймёт ли она, но говорил так, как говорят с ранеными на поле боя: тихо, твёрдо, без лишних слогов.

— Вы. Не. Уйдёте. За. Стены. — Он указал на окно, за которым выли ветер и серое небо. — Там. Тени. Они. Едят. Людей. Которые. Не. Знают. Языка. Им. Всё. Равно. На. Каком. Вы. Кричите.

Ева не поняла всех слов, но поняла главное: стены, тени, смерть, не ходи. Она кивнула — медленно, серьёзно, без сарказма, потому что в его голосе не было угрозы, а была усталость, и эта усталость была настоящей, и за ней стояли годы, и войны, и потери, которые Ева ещё не могла вообразить, но уже чувствовала, как чувствуют сквозняк в закрытой комнате — кожей, затылком, инстинктом.

Она сказала, глядя ему в глаза:

— Я поняла. Спасибо.

Это слово — «спасибо» — она выучила у Изольды утром, вместе с «нет» и «вода». Три слова. Минимальный набор для выживания в чужом мире. «Нет» — чтобы отказываться от того, что может убить. «Вода» — чтобы не умереть от жажды. «Спасибо» — чтобы не умереть от одиночества, потому что благодарность — это мост, а мосты нужны, даже если ты не знаешь, куда они ведут.

Адриан моргнул. Он не ожидал благодарности. Он ожидал слёз, криков, молчания, проклятий — всего, что обычно получал от людей, которым говорил, что они не могут уйти. Но не «спасибо». Не от женщины в странных штанах, сидящей в его допросной комнате, с треснутыми очками на носу и запахом чернил в волосах.

Он отвернулся, чтобы она не видела, как дёрнулась мышца на его скуле — единственное, что выдавало его замешательство, — и сказал Изольде, не оборачиваясь:

— Дайте ей комнату. Не камеру — комнату. С окном, с одеялом, с едой, которая не пахнет плесенью. И дайте ей книги — если она из мира, где сжигают картонных королей, ей, наверное, не хватает чтения.

Изольда подняла бровь.

— Ты только что сказал «дайте ей книги»? Ты? Человек, который считает, что книги — это роскошь, а не необходимость?

— Я сказал «дайте ей книги», чтобы она не сошла с ума и не начала разговаривать с крысами громче, чем сейчас, — отрезал Адриан. — Это прагматизм, а не щедрость. Не путайте.

— Разумеется, милорд, — сказала Изольда с интонацией, которая ясно давала понять, что она путает, и будет путать, и не собирается останавливаться.

Кассьен, стоявший у двери, подмигнул Еве и сказал что-то на корвальском, чего она не поняла, но по тону это было что-то вроде «добро пожаловать в сумасшедший дом, тут весело, не считая теней и проклятий».

Комнату ей дали к вечеру. Маленькую, на третьем этаже, с узким окном, выходящим на внутренний двор, с каменным полом, но с настоящей кроватью — деревянной, с тюфяком, набитым соломой, которая пахла уже не плесенью, а просто соломой, и это было таким роскошеством после трёх дней на мокром камне, что Ева села на край кровати и почувствовала, как к горлу подступает ком, который она глотала три дня.

Она не заплакала. Она не плакала почти никогда — не потому, что была сильной, а потому, что слёзы размывают чернила, а она привыкла работать с чернилами, и привычка стала рефлексом, а рефлекс — характером. Но ком в горле был настоящим, и она позволила ему побыть там, не гоня его, не давя, не делая вид, что его нет.

На подоконнике лежала стопка книг — толстых, в кожаных переплётках, с пожелтевшими страницами и алхимическими символами на корешках. Изольда принесла их сама, вместе с миской горячего супа и одеялом, которое пахло травами — розмарином и полынью, — и сказала жестами: «Читай. Ешь. Спи. Завтра начнём учить язык».

Ева кивнула. Изольда ушла. Дверь закрылась — не на замок, а просто на щеколду, и это было ещё одним маленьким чудом, потому что щеколда означала доверие, а доверие в чужом мире, после трёх дней в камере, было дороже, чем все книги на подоконнике вместе взятые.

Ева съела суп. Он был горячим, густым, с кусками мяса и корнеплодов, которых она не знала, но которые были вкуснее всего, что она ела в Москве за последний год, и от этого стало ещё тоскливее, потому что вкусная еда в чужом мире — это как тёплое одеяло в чужом доме: оно греет, но напоминает, что ты не дома.

Потом она достала пергамент и карандаш. Добавила три штриха к первому — итого четыре. Написала:

«День 4. Комната. Кровать. Суп. Книги. Крыса осталась в камере, я скучаю. Три слова: нет, вода, спасибо. Он сказал "не ходи за стены, там тени". У него серые глаза и трещина в голосе. Я думаю, он тоже сломан. Вопрос — можно ли его починить».

Она перечитала последнюю строчку и нахмурилась. Откуда это взялось? Она не знала этого человека. Она видела его дважды — в камере и в допросной, — и оба раза он был жёсток, холоден и непроницаем, как стены его крепости. Но она видела и другое — усталость в его глазах, седину у висков, которая не соответствовала его возрасту, то, как он прижал левую руку к груди, когда думал, что никто не смотрит, и то, как дёрнулась мышца на его скуле, когда она сказала «спасибо».

Реставратор видит трещины. Это профессиональная деформация — ты смотришь на вещь и первым делом замечаешь, где она сломана, где потёртость, где надлом, где клей, которым кто-то пытался склеить разбитое и не преуспел. Ева смотрела на людей так же, как на книги, и в Адриане де ла Верне трещин было больше, чем в любом кодексе, который она когда-либо реставрировала.

Она провела пальцем по стене рядом с кроватью. Камень был старый, пористый, с сетью трещин, расходящихся от угла окна, как лучи от звезды. Ева машинально оценила глубину и направление — привычка, сработавшая раньше мысли, — и отметила, что трещины старые, неопасные, но если не заделать их до зимы, влага сделает своё дело, и камень начнёт крошиться.

Всё, что можно починить, — уже не сломано до конца.

Она убрала руку от стены, легла на кровать, натянула одеяло до подбородка и закрыла глаза. За окном выл ветер. Где-то далеко, за стенами крепости, за горами, за Пустошами, шумело море, которого она ещё не видела и не знала, что когда-нибудь увидит, — и не знала, что это море станет последним, о чём она подумает перед смертью.

Но это будет потом.

А пока был день четвёртый. И комната с окном. И запах розмарина в одеяле. И три слова на чужом языке, которые она повторяла в темноте, как молитву: «Нет. Вода. Спасибо».

И где-то в башне на другом конце крепости Адриан де ла Верн сидел один, прижимая левую руку к груди, и чувствовал, как в его сердце шевелится зима, и не знал, что через двести сорок три дня эта зима отступит — ненадолго, ненадёжно, но достаточно, чтобы он впервые за три года поверил, что весна возможна.

А потом — чтобы весна кончилась.

Факел в коридоре мигнул. Ночь в Гримвальде продолжалась.

Глава 3

Отравленная вода

На пятое утро Ева проснулась от криков.

Не тех криков, к которым она уже начала привыкать, — лязга оружия на плацу, ругани сержантов, хриплых команд, разносившихся по крепости с рассветом, как петушиное пение, если бы петухи были вооружены алебардами и страдали хроническим недосыпом. Нет. Эти крики были другими — тонкими, рваными, пронзительными, как звук рвущейся ткани, и в них не было ни злости, ни приказа, а был только страх, чистый и животный, от которого у Евы мгновенно встали дыбом волосы на затылке.

Она вскочила с кровати, накинула свитер — ночи в Гримвальде были такими, что даже в середине лета зубам хотелось стучать, как кастаньеты, — и распахнула дверь.

Коридор третьего этажа, ещё минуту назад пустой и тихий, превратился в ад. Солдаты бежали во всех направлениях, сталкиваясь, спотыкаясь, крича на корвальском так быстро, что даже Изольда, наверное, не успела бы перевести. Один из них — молодой, не старше восемнадцати, с лицом, покрытым потом и чем-то зеленоватым, — упал прямо перед дверью Евы, скрючился, обхватив живот, и его вырвало на каменный пол. Рвота была тёмной, почти чёрной, с запахом, от которого Еву качнуло назад, как от удара.

— Не трогай его! — крикнул кто-то сверху, и Ева, повинувшись инстинкту, а не разуму, отпрыгнула к стене.

Мимо пробежал Кассьен — без плаща, с расстёгнутым воротом, с тремя пальцами левой руки, сжатыми в кулак, и с выражением лица, которое Ева ещё не видела на его вечно ухмыляющейся физиономии: растерянность. Чистая, неподдельная, детская растерянность, которая не шла ему так же, как улыбка, и от этого была ещё страшнее.

— Что случилось? — крикнула Ева, забыв, что он её не поймёт.

Кассьен, к чести его, не стал тратить время на объяснения человеку, который не знает языка. Он схватил её за руку — крепко, но не грубо, — и потащил за собой вниз по лестнице, через двор, к колодцу, вокруг которого уже собралась толпа.

Колодец стоял посреди внутреннего двора — каменный круг, два метра в диаметре, с деревянным воротом и верёвкой, к которой было привязано ведро. Вокруг него лежали люди. Десять, пятнадцать, двадцать — Ева не успела сосчитать, потому что её взгляд зацепился за детали, которые мозг реставратора фиксировал быстрее, чем сознание успевало их осмыслить: синюшные губы, судороги в конечностях, пена у рта, расширенные зрачки, рвота, запах — горький, минеральный, похожий на запах негашёной извести, смешанной с чем-то металлическим.

Не органика, — подумала Ева, и мысль эта прозвучала в её голове с холодной, профессиональной чёткостью, отрезавшей панику, как скальпель отрезает гнилую кожу от переплёта. Не чума, не дизентерия, не холера. Минеральный яд. Щелочная реакция. Что-то неорганическое.

Изольда уже была у колодца. Она стояла на коленях рядом с одним из солдат — пожилым, с седыми усами, который хрипел, вцепившись в землю пальцами, — и пыталась влить ему в рот какой-то отвар из фляги. Солдат выплёвывал отвар, и его тело дёргалось в конвульсиях, как у марионетки, у которой дёргают нитки вразнобой.

Изольда подняла голову и увидела Еву. В её карих глазах, обычно тёплых и хитрых, был ужас — не за себя, а за этих людей, за своих солдат, за гарнизон, который она лечила уже двадцать лет и который умирал у неё на руках, потому что её запасы противоядий истощены, а яд — неизвестен, и она, целительница, алхимик, бывшая послушница ордена Трёх Пламён, не знала, что делать, и это незнание было для неё страшнее любой тени из Пустошей.

Она посмотрела на Еву и показала жест, который не требовал перевода: «Помоги».

Ева не раздумывала. Она опустилась на колени рядом с Изольдой, отодвинула флягу с отваром — тот пах травами, мятой и чем-то вяжущим, и Ева мгновенно поняла, что это не поможет, потому что травы не нейтрализуют минеральный яд, — и наклонилась к ведру, стоявшему у колодца.

Вода в ведре была мутной, с сероватым оттенком, который не должен был быть у чистой колодезной воды. Ева поднесла ведро к носу и понюхала — осторожно, короткими вдохами, как учат на курсе химического анализа в реставрационных мастерских. Запах подтвердил догадку: известь, мышьяк, щёлочь. Классическая алхимическая диверсия — грубая, но эффективная, как удар дубиной по голове. Кто-то бросил в колодец реагент, который превратил питьевую воду в яд, и яд этот действовал быстро, потому что солдаты пили воду с утра, и прошло уже два-три часа, и за это время щёлочь разъела стенки желудков, а мышьяк начал делать своё чёрное дело в крови.

Ева встала и начала показывать Изольде жесты — те самые алхимические жесты, которые она учила три дня, коряво, с ошибками, но достаточно понятно, чтобы Изольда, чьи глаза расширились от удивления, поняла главное.

«Кислота. Нужна кислота. Уксус. Лимон. Что-то кислое».

Изольда моргнула. Потом кивнула — резко, однократно, как солдат, получивший приказ. Она поняла логику: щёлочь нейтрализуется кислотой. Это был базовый закон алхимии, Закон Эквивалентности в его простейшем проявлении — одно вещество гасит другое, как огонь гасит воду, и наоборот. Но Изольда не додумалась до этого, потому что она была целительницей, а не химиком, и её первая реакция на отравление была — травы, отвары, молитвы, а не расчёты кислотности.

Ева показала второй жест: «Уголь. Древесный. Измельчить». Уголь — адсорбент, он впитает мышьяк, свяжет его, не даст всосаться в кровь. Это Ева знала из курса реставрации: активированный уголь использовали для очистки чернил от примесей ещё в XV веке, и принцип не изменился ни в одном мире, где существует химия.

Третий жест: «Кипятить. Всю воду. Кипятить».

Изольда повернулась к Кассьену, который стоял рядом, бледный, сжимая свой длинный нож так, что костяшки побелели, и закричала на корвальском — быстро, жёстко, тоном, который не допускал возражений. Кассьен моргнул, потом кивнул и бросился к солдатам, крича команды, от которых гарнизон, до того метавшийся в панике, вдруг собрался в кучу, как стадо, услышавшее голос пастуха.

А Ева побежала в лабораторию.

Алхимическая лаборатория Гримвальда помещалась в подвале восточной башни и выглядела так, как должна выглядеть лаборатория в крепости на краю мира: тесная, закопчённая, заставленная колбами, ретортами, сушилками для трав и ящиками с минералами, пахнущая серой, уксусом и чем-то сладковато-гнилостным, что Ева предпочла не идентифицировать. На стенах висели таблицы алхимических символов — Соль, Ртуть, Сера, — нарисованные углём на пергаменте, и Ева, пробегая мимо, отметила, что система совпадает с той, которую она видела в трактатах Изольды: три первичные субстанции, три цвета, три состояния материи. Универсальная алхимия, работающая в любом мире, где есть материя и энергия.

Она нашла уксус — три больших бочки в углу, пахнущих так, что слезились глаза. Нашла древесный уголь — мешок у печи, чёрный, пыльный, идеальный. Нашла ступку и пестик. Нашла котёл — медный, зелёный от патины, но целый. Нашла воду — чистую, из запаса, который Изольда хранила в закрытых кувшинах для своих составов.

И начала работать.

Кассьен влетел в лабораторию через пять минут, волоча за собой двух солдат, которые несли бочку уксуса. Ева жестами показала им, что делать: дробить уголь в ступке, смешивать с уксусом, разбавлять чистой водой, кипятить. Солдаты смотрели на неё с недоумением — кто

эта чужестранка в странных штанах, которая командует в лаборатории Изольды, как генерал на поле боя? — но Кассьен рявкнул что-то, и они подчинились, потому что Кассьен, при всей своей ухмылке, умел рявкать так, что стены дрожали.

Ева работала быстро, точно, без лишних движений. Её руки — руки реставратора, привыкшие к хирургической точности, — двигались с той уверенностью, которая приходит только после тысяч часов практики. Она отмеряла пропорции на глаз, потому что весов не было, а времени — ещё меньше. Она нюхала смесь после каждого добавления, корректируя кислотность, как корректируют pH раствора при очистке пергамента. Она помешивала котёл деревянной лопаткой, следя за цветом — мутно-серый должен был стать прозрачно-жёлтым, и когда он стал, Ева выдохнула и показала Кассьену жест, который выучила у Изольды вчера: «Готово».

Кассьен посмотрел на котёл, на Еву, на солдат, которые дробили уголь с таким усердием, словно от этого зависела их жизнь — а от этого, собственно, и зависела, — и сказал что-то на корвальском, чего Ева не поняла, но по тону это было что-то вроде «ты только что сотворила чудо, и я не уверен, что мне это нравится, но я благодарен».

Она не стала объяснять, что это не чудо, а химия. Не было времени.

Первую порцию нейтрализованной воды они вынесли во двор и начали вливать в отравленных солдат. Ева работала вместе с Изольдой — одна держала голову, другая вливала, третья (Кассьен, неожиданно ловкий для человека с тремя пальцами) разжимала судорожно сжатые челюсти. Вода была кислой, горькой, пахнувшей углём и уксусом, и солдаты давились, плевались, хрипели, но глотали, и через час первый из них — тот самый пожилой с седыми усами — открыл глаза и прошептал что-то, от чего Изольда перекрестилась жестом Трёх Пламён и прижала ладонь ко рту.

К полудню кризис миновал. Не все выжили — трое солдат, выпивших больше всего отравленной воды, умерли до того, как Ева успела приготовить первую порцию, и их тела лежали во дворе, накрытые плащами, и рядом с ними стояли их товарищи, молчаливые, с лицами, застывшими, как маски. Но остальные — сорок семь человек, по подсчётам Кассьена, — были живы. Рвота прекратилась, судороги утихли, цвет лиц сменился с синюшного на бледный, что в данных обстоятельствах было равносильно румянцу здоровья.

Ева сидела на ступенях колодца, упираясь спиной в каменную кладку, и смотрела на свои руки. Они были чёрными от угля, красными от уксуса, в мелких порезах и ожогах, и дрожали так, что она не могла сжать кулак. Адреналин отпустил её, как отпускает волна пловца, швырнув на берег, — резко, без предупреждения, оставив после себя пустоту и тошноту.

Она закрыла глаза и услышала шаги. Тяжёлые, размеренные, с характерной хромотой на левую ногу, которую она уже научилась различать.

Адриан.

Он вернулся со стены за час до полудня. Тени атаковали северный бастион на рассвете — очередной набег, не крупный, но изматывающий, — и Адриан провёл наверху шесть часов, командуя обороной, отбивая атаки, считая потери. Когда он спустился во двор и увидел сорок семь отравленных солдат, три тела под плащами и чужестранку в синих штанах, сидящую на ступенях колодца с руками, чёрными от угля, — он остановился так резко, что Кассьен, шедший за ним, врезался ему в спину.

— Что здесь произошло? — спросил Адриан голосом, от которого Кассьен инстинктивно сделал шаг назад.

Кассьен рассказал. Быстро, чётко, без своих обычных шуток, потому что шутить, когда на дворе лежат мёртвые, не умел даже он. Он рассказал про отравленный колодец, про панику, про Изольду, у которой не было противоядий, и про Еву, которая за три часа сделала то, чего не смогли сделать лучшие алхимики гарнизона за три дня осады в прошлом году.

Адриан слушал, не перебивая. Его лицо было неподвижным, как камень, но Ева, сидевшая в пяти метрах от него, видела, как дёргается мышца на его скуле — тот самый тик, кото-

рый она заметила в допросной комнате, — и как его левая рука, спрятанная в перчатке, сжимается и разжимается, сжимается и разжимается, как будто он пытается удержать что-то, что ускользает сквозь пальцы.

Когда Кассьен закончил, Адриан подошёл к Еве.

Он встал перед ней — высокий, заляпанный кровью и грязью, с запахом дыма и железа, с серыми глазами, в которых усталость смешивалась с чем-то, что Ева не могла идентифицировать, потому что в её мире это чувство называлось «благоговение», а в его мире, вероятно, не имело названия, потому что лорды-маршалы Северного Рубежа не благоговели перед чужестранками в треснутых очках.

Он заговорил медленно, разделяя слова, как в допросной, но на этот раз в его голосе не было жёсткости. Была только усталость и что-то ещё — тихое, хрупкое, как первый луч солнца после полярной ночи.

— Вы... спасли... моих людей, — сказал он, и каждое слово давалось ему с трудом, не потому, что он не знал языка, а потому, что он не привык говорить «спасибо» людям, которых ещё неделю назад считал шпионами.

Ева посмотрела на него снизу вверх — она сидела, он стоял, и перспектива делала его ещё выше, ещё шире, ещё более похожим на скалу, которую ветер обтёсывал тридцать лет, но не смог сломать. Она хотела сказать что-то остроумное, что-то саркастичное, что-то в духе «обращайтесь, это моя работа, с вас пятьсот рублей и квитанция», но слова застряли в горле, потому что за его спиной лежали три тела под плащами, и эти тела были настоящими, и они не встанут, и никакая химия, никакая алхимия, никакой Закон Эквивалентности не вернёт их к жизни, потому что Закон Необратимости сильнее, и смерть — это не трещина, которую можно заклеить.

Она сказала единственное слово из своего скудного словаря, которое подходило к моменту:

— Спасибо.

Адриан моргнул.

— Это я должен говорить «спасибо», — сказал он, и в его голосе мелькнула тень того, что в другом мире, в другой жизни, можно было бы назвать улыбкой. — Не вы.

Ева пожала плечами — жест, который, как выяснилось, был универсален в обоих мирах.

— Тогда мы квиты, — сказала она по-русски, зная, что он не поймёт, но чувствуя, что он поймёт интонацию.

Адриан не понял слов. Но он понял интонацию — ту лёгкую, горькую иронию, с которой люди говорят о вещах, которые слишком велики для слов, и поэтому они прячут их за шутками, как прячут слёзы за смехом. Он узнал эту интонацию, потому что сам пользовался ею каждый день, и от этого что-то шевельнулось в его груди — не проклятие, не зима, а что-то тёплое, живое, пугающее, как первый подснежник, пробившийся сквозь снег в мире, где зима длится девять месяцев.

Он отвернулся, чтобы она не видела его лица, и сказал Кассьену, не повышая голоса:

— Снимите с неё статус пленницы. Дайте ей комнату на втором этаже — ту, с видом на горы, где раньше жил интендант. Дайте ей ключ от лаборатории. Дайте ей всё, что она попросит, в пределах разумного и в пределах моего бюджета, который, как ты знаешь, трещит по швам.

Кассьен поднял бровь.

— Всё, что она попросит?

— В пределах разумного, Кассьен. Я сказал «в пределах разумного».

— Разумеется, милорд. Просто в прошлый раз, когда ты сказал «в пределах разумного», ты имел в виду «в пределах того, что не взорвёт крепость», а с учётом того, что эта женщина

за три часа превратила мою лабораторию в пороховой погреб, я хотел бы уточнить границы разумного.

— Кассьен.

— Слушаю, милорд.

— Исполни приказ.

— Будет сделано, милорд. — Кассьен повернулся к Еве, поклонился с преувеличенной галантностью, от которой его рыжие волосы упали на лицо, и сказал на корвальском что-то, что, судя по тону, было чем-то вроде «поздравляю, вы только что стали самым ценным человеком в этой крепости после Адриана, и это говорит о вас больше, чем о нём».

Адриан, уже уходя, остановился и бросил через плечо, не оборачиваясь:

— И ещё. Вы не уйдёте за стены. Не потому, что я не доверяю вам — после сегодняшнего я, пожалуй, доверяю вам больше, чем половине своего гарнизона, — а потому, что за стенами тени, а вы мне теперь должны.

Ева, которая уже начала понимать отдельные фразы на корвальском, уловила слово «должны» и спросила, на ломаном, но понятном корвальском, который она собирала по кусочкам, как мозаику:

— Должна? Чем?

Адриан обернулся. Его серые глаза встретились с её серо-зелёными, и в этом взгляде была такая тяжесть, такая усталость, такая бездна невысказанных слов, что Ева почувствовала, как у неё перехватило дыхание, — не от страха, а от узнавания, от того странного, необъяснимого чувства, которое возникает, когда ты смотришь в глаза незнакомому человеку и понимаешь, что он сломан точно так же, как ты, только его трещины глубже, и его клей давно высох, и он держится на честном слове и упрямстве, и ты хочешь — нет, не хочешь, а должна — помочь ему, потому что ты реставратор, и это твоя работа, и ты не можешь пройти мимо сломанной вещи, даже если эта вещь — человек, даже если этот человек — лорд-маршал, даже если этот человек смотрит на тебя так, словно ты — единственное тёплое пятно в его ледяном мире.

— Жизнью трёх тысяч человек, — сказал Адриан тихо. — Это дорого стоит, мэтресс.

И ушёл. Плащ его метнулся за ним, как тень, и сапоги застучали по камню, и хромата на левую ногу была едва заметна, но Ева её видела, потому что она видела все трещины, и эта хромата была одной из них, и она знала, что за ней стоит история, которую ей ещё предстоит узнать, и что эта история будет болеть, как болят все настоящие истории.

Новую комнату ей дали к вечеру. Она была втрое больше старой — с двумя окнами, одно на горы, другое на двор, с камином, с настоящим столом, с полками, на которых стояли алхимические трактаты, и с кроватью, которая не скрипела, что в Гримвальде было равносильно чуду.

Кассьен лично принёс ей ключ от лаборатории — тяжёлый, железный, с гравировкой в виде змеи, обвивающей колбу, — и сказал, с ухмылкой, которая уже начала казаться Еве родной:

— Мэтресс Ева, добро пожаловать в команду. У нас тут тени, проклятия, отравленные колодцы и командир, который улыбаётся раз в год по обещанию. Скучно не будет.

Ева не поняла всех слов, но поняла тон и ответила, на корвальском, медленно и чётко:

— Спасибо. Я... привыкла. К скучному.

Кассьен моргнул, потом рассмеялся — громко, заразительно, так, что эхо разнеслось по коридору, и Ева, сама того не ожидая, улыбнулась в ответ.

Когда он ушёл, она села за стол, достала пергамент и карандаш и добавила пятый штрих. Рядом с ним написала:

«День 5. Жива. Пока. Колодец отравлен. Три человека умерли. Сорок семь живы благодаря уксусу и углю. Я больше не пленница. У меня есть ключ от лаборатории и комната с

камином. Он сказал, что я должна ему жизнью трёх тысяч человек. Я сказала "спасибо". Он сказал "нет, это я должен". Мы оба неправы, но это, кажется, начало чего-то».

Она перечитала последнюю строчку и нахмурилась. Начало чего-то — это было слишком размыто, слишком неопределённо для человека, который привык к точности формулировок и к тому, что каждая трещина имеет конкретную причину и конкретный способ ремонта. Но в этом мире трещины были другими — они были внутри людей, и причины их были не в сырости и не в времени, а в войнах, и в проклятиях, и в зимах, которые поселялись в груди и не уходили, и Ева не знала, как их чинить, и не знала, хватит ли у неё клея, и не знала, не порежет ли она пальцы об осколки, как предупреждала Изольда.

Но она знала одно: сегодня она спасла сорок семь человек с помощью уксуса и угля, и это было больше, чем она сделала за всю свою жизнь в Москве, реставрируя книги, которые никто не читал, в подвале, в котором никто не бывал, для музея, в который никто не ходил.

И от этого было тепло. И страшно. И одиноко. И почему-то — впервые за пять дней — не так холодно.

За окном выли ветер и горы. Где-то в башне на другом конце крепости Адриан де ла Верн прижимал левую руку к груди и чувствовал, как в его сердце шевелится зима, и не знал, что женщина, которая сегодня спасла его гарнизон уксусом и углём, через двести сорок два дня будет держать его на руках в саду, полном белых роз, и кричать его имя так, что замолчат птицы.

Но это будет потом.

А пока был день пятый. И ключ от лаборатории. И запах уксуса в волосах, который перебил запах чернил, но не до конца — чернила держались крепко, как память, как клятва, как трещина, которую не заклеишь, потому что она не в камне, а в душе.

Котёнка у неё ещё не было. Но крыса Грета Вторая, которая каким-то образом перебралась из старой камеры в новую комнату и теперь сидела на подоконнике с видом на горы, смотрела на Еву с выражением, которое можно было истолковать как одобрение.

Факел в коридоре мигнул.

Ночь в Гримвальде продолжалась, но в ней, впервые, был свет.

Глава 4

Каменный Пёс

Месяц в Гримвальде — это тридцать дней, семьсот двадцать часов и примерно столько же причин сойти с ума, если ты — чужестранка без телефона, без паспорта, без обратного билета и без малейшего представления о том, как устроен мир, в который тебя швырнула алхимическая случайность.

Ева не сошла. Во-первых, потому что у неё была лаборатория, а лаборатория — это универсальное убежище для людей, которые предпочитают колбы людям. Во-вторых, потому что корвальский язык оказался на удивление логичным — гортанным, рубленным, с пятью падежами и тремя формами вежливости, но логичным, как алхимическая формула, и Ева, привыкшая расшифровывать мёртвые языки по обрывкам текстов, схватывала его с пугающей скоростью. К концу второй недели она понимала бытовую речь. К концу третьей — читала алхимические трактаты Изольды, спотыкаясь только на архаизмах и на слове «предназначение», которое в корвальском состояло из семи слогов и звучало так, словно кто-то подавился камнем. К концу четвёртой — она могла поддержать разговор с Кассьеном, что, по мнению самого Кассьена, было подвигом, сравнимым с покорением Чёрных Пиков.

— Ты говоришь, как трёхлетний ребёнок из хорошей семьи, — сказал он ей однажды за ужином, жонглируя тремя оставшимися пальцами левой руки и одновременно пытаясь нарезать мясо ножом, который был длиннее его предплечья. — То есть грамматика у тебя безупречная, но акцент такой, что у меня уши сворачиваются в трубочку. Ты произносишь «р» так, будто пытаешься его проглотить.

— В моём языке «р» не рычит, — ответила Ева, старательно выговаривая корвальское слово «рыцарь», которое требовало такого раскатистого «р», что у неё вибрировал нёбный язычок. — У нас «р» мягкое. Как кошка.

— Как кошка! — Кассьен поперхнулся вином. — Адриан, ты слышал? У неё в мире «р» — как кошка! А у нас «р» — как медведь, которого наступили на лапу. Вот почему мы такие нежные и утончённые.

Адриан, сидевший во главе стола и евший свой ужин с молчаливой сосредоточенностью человека, для которого еда — не удовольствие, а топливо, не поднял глаз. Но Ева заметила, что уголок его рта дёрнулся — едва заметно, на долю секунды, — и это было ближе к улыбке, чем всё, что она видела от него за месяц.

Солдаты привыкли к ней. Поначалу они смотрели на неё с подозрением — чужестранка, безродная, в странных штанах, говорит на языке, от которого у сержанта Готье дёргался глаз, — но после истории с колодцем отношение изменилось. Солдаты — народ простой и прагматичный: они не любят чужаков, но они любят людей, которые спасают им жизни, и Ева, спасшая сорок семь человек уксусом и углём, автоматически перешла из категории «подозрительная ведьма» в категорию «наша странная алхимичка». Они звали её «чужестранка» — уже без злобы, скорее с той ласковой фамильярностью, с которой зовут дворовую кошку, которая непонятно откуда взялась, но стабильно ловит мышей.

Она адаптировалась. Мужскую одежду — потому что женской её размера в крепости не было, а шить на заказ было не из чего и не у кого — она подшила по фигуре, закатала рукава и подпоясала верёвкой, что придавало ей вид то ли молодого подмастерья, то ли беглого монаха. Волосы заплетала в тугую косу, чтобы не лезли в глаза и не попадали в реактивы. Очки починила — Изольда дала ей смолу, которой алхимики склеивали реторты, и Ева залепила трещину на левом стекле так аккуратно, что трещина стала почти невидна, хотя мир через неё по-прежнему казался чуть раздвоенным, как страница палимпсеста, на которой старый текст проступает сквозь новый.

Но главное, что произошло за этот месяц, — Ева начала видеть Адриана.

Не лорда-маршала. Не Каменного Пса. Не командира, чьё имя заставляло тени отступать, а солдат — вытягиваться по струнке. А человека. Того человека, который прятался за стенами крепости и за стенами собственного тела, как прячутся раненые звери — в нору, в темноту, в молчание, подальше от чужих глаз и чужих рук.

Он вставал до рассвета. Ева знала это, потому что её комната на втором этаже выходила окном на внутренний двор, и каждое утро, ещё до того, как небо над горами начинало светлеть, она видела его фигуру на стене — чёрный силуэт на фоне серого неба, неподвижный, как горгулья, с плащом, развевающимся на ветру, как знамя. Он обходил стены, проверял дозоры, осматривал бойницы, и его шаги по камню были такими ровными и размеренными, что Ева, засыпавшая под их ритм, думала иногда, что он не человек, а механизм, заведённый три года назад и с тех пор не остановившийся ни разу.

Он ел последним. Это Ева заметила на третью неделю, когда начала ужинать в общей зале вместе с офицерами — привилегия, которую Адриан даровал ей молча, просто кивнув в её сторону, когда она впервые появилась в дверях залы с подносом. Солдаты ели первыми, потом офицеры, потом Кассьен, потом Изольда, и только когда последняя миска была убрана со стола, Адриан садился в углу, брал кусок хлеба и миску похлёбки и ел быстро, молча, не глядя на еду, как едят люди, для которых вкус — это роскошь, а сытость — необходимость.

Ева начала ждать его. Не нарочно — просто её внутренний ритм, ритм реставратора, привыкшего к тишине и одиночеству, подстроился под его ритм, как подстраиваются часы в одном доме, если их завести одновременно. Она садилась за стол, когда все уже ушли, и ждала, пока он закончит, и читала трактат Изольды, и делала вид, что не смотрит на него, хотя смотрела — на его руки, на его лицо, на то, как он морщится, когда прожёвывает слишком жёсткий кусок мяса, и на то, как его левая рука, спрятанная в перчатке, лежит на столе неподвижно, как мёртвая, и не участвует в трапезе.

Перчатка. Это была первая трещина, которую Ева заметила по-настоящему.

Адриан носил перчатку на левой руке всегда. Днём и ночью, в зале и на стене, в дождь и в мороз. Перчатка была кожаная, чёрная, плотно облегающая, и он не снимал её даже тогда, когда ел, — просто держал ложку правой рукой, а левую прятал под столом, как прячут уродство, которое не хотят показывать. Ева, реставратор, привыкшая замечать детали, которые другие пропускают, видела, что перчатка скрывает не рану — шрамы не прячут так тщательно, — а что-то другое. Что-то, что Адриан считает более постыдным, чем шрам.

Второй трещиной была хромота. В сырую погоду — а в Гримвальде сырая погода была девять месяцев из двенадцати — Адриан хромал на левую ногу. Хромота была едва заметной, почти неуловимой, и он маскировал её так искусно, что солдаты, вероятно, не замечали её вовсе, приписывая его неровную походку усталости или привычке. Но Ева видела. Она видела, как он переносит вес на правую ногу, когда думает, что никто не смотрит, и как его лицо на мгновение искажается болью, когда он поднимается по лестнице башни, и как он сжимает зубами нижнюю губу, когда левое колено не слушается его на повороте.

Третьей трещиной была левая рука. Та самая, в перчатке. Ева видела, как Адриан иногда прижимает её к груди — быстро, машинально, как прижимают рану, которая болит не снаружи, а внутри, — и как его пальцы сжимаются на ткани камзола, и как его лицо на секунду становится белым, как мел, а потом он выпрямляется, и маска возвращается на место, и он снова — лорд-маршал, Каменный Пёс, стена, скала, механизм.

Ева не спрашивала. Не потому, что ей было неинтересно — ей было интересно до дрожи в пальцах, до того самого профессионального зуда, который охватывает реставратора, когда он видит книгу, которую нужно разобрать по листам, чтобы понять, что с ней случилось, — а потому, что она понимала: Адриан не тот человек, у которого можно спрашивать о его трещинах. Он тот человек, который скорее отрубит тебе голову, чем позволит заглянуть под перчатку.

Поэтому она спросила Кассьена.

Это случилось в конце четвёртой недели, вечером, когда Адриан ушёл на стену, а Кассьен остался в зале, допивая вино и играя в кости с сержантом Готье, у которого, по слухам, была деревянная нога и железный характер, но который проигрывал Кассьену с завидным постоянством.

Ева села напротив Кассьена, подождала, пока он выиграет очередную партию и отправит Готье восвояси с проклятиями, которые звучали как поэзия, если не вслушиваться в смысл, и спросила, на корвальском, медленно и осторожно, как сапёр, перерезающий провод:

— Кассьен. Почему он носит перчатку?

Кассьен замер. Кубок с вином остановился на полпути к его губам. Ухмылка, которая обычно не сходила с его лица, на мгновение погасла, как свеча на сквозняке, и в его глазах — голубых, весёлых, вечно насмешливых — мелькнуло что-то тёмное и тяжёлое, что не вязалось с его рыжими веснушками и тремя пальцами левой руки.

— Ты заметила, — сказал он тихо. Не вопрос. Констатация.

— Я реставратор, — сказала Ева. — Я замечаю трещины. Это профессиональная болезнь.

Кассьен поставил кубок на стол и посмотрел на неё долгим, оценивающим взглядом, в котором не было ни ухмылки, ни шуток, ни лёгкости, а была только усталость — та же самая, которую Ева видела в глазах Адриана, только у Кассьена она была моложе, свежее, как шрам, который ещё не побелел.

— Три года назад, — сказал он, — мы дрались с Теневым Королём при Чёрных Пиках. Ты знаешь эту историю — её рассказывают в каждом кабаке Корваля, и в каждой версии Адриан убивает Теневого Короля по-разному: в одной — голыми руками, в другой — алхимическим клинком, в третьей — взглядом, от которого тени рассыпаются в пыль. Но правда — правда скучнее и страшнее, чем все кабацкие байки вместе взятые.

Он сделал глоток вина и продолжил, глядя не на Еву, а на пламя свечи, которое дрожало в его отражении, как отражение дрожит в воде.

— Правда в том, что Адриан держал горный проход трое суток. Трое суток, Ева. Один. Против сотни теней. У него было два меча, полфляги воды и проклятие, которое он получил в первый же час боя, когда кровь Теневого Короля хлынула ему на грудь через открытую рану. Он не отступил. Он не сдался. Он стоял в проходе, как стена, и тени разбивались о него, как волны о скалу, и когда мы наконец пробились к нему на четвёртый день, он был жив, но его левая рука... — Кассьен замолчал, и его три пальца невольно сжались в кулак, — ...его левая рука была чёрной. Не от грязи. Не от крови. От кристаллов. Минералы из крови Теневого Короля ввелись в его плоть, как мороз въедается в камень, и его рука была твёрдой, как мрамор, от локтя до кончиков пальцев.

Ева почувствовала, как у неё перехватило дыхание.

— Изольда спасла руку, — продолжил Кассьен. — Она вымочила её в ртутном растворе и серной кислоте, и кристаллы отступили, и рука снова стала мягкой, и пальцы снова стали гнуться, но... — он пожал плечами, и в этом пожатии была вся безысходность человека, который видел, как его лучший друг умирает по кусочкам, и не мог ничего сделать, — ...но проклятие не ушло. Оно ушло вглубь. В кровь. В сердце. И теперь оно там живёт, как зима в горах, — тихо, терпеливо, и каждый год оно продвигается чуть дальше, и каждый приступ чуть сильнее, и каждый раз, когда Адриан прижимает левую руку к груди, я знаю, что кристаллы шевелятся, и я знаю, что однажды они доберутся до сердца, и тогда...

Он не договорил. Не потому, что не знал конца, а потому, что конец был таким, о котором не говорят вслух в тёплой комнате, за столом, с вином и свечой, когда за окном воет ветер и где-то на стене стоит человек, который не знает, что его обсуждают, и который убьёт их обоих, если узнает.

— Поэтому перчатка? — спросила Ева тихо.

— Поэтому перчатка, — кивнул Кассьен. — Он не хочет, чтобы кто-то видел его руку, когда она немеет. А она немеет часто. Особенно в сырую погоду. Особенно после приступов. Он прячет её, как прячут слабость, а слабость для Адриана — это хуже, чем смерть. Смерть — это честно. Слабость — это позор. Так его воспитали, и так он живёт, и я не знаю, как объяснить ему, что для меня его слабость — не позор, а причина любить его ещё сильнее, но я не говорю ему этого, потому что он меня ударит, а я не хочу портить ему кулак о моё лицо, у него и так левая рука не работает.

Ева молчала. Она смотрела на пламя свечи и думала о том, что в её мире есть слово «ПТСР» — посттравматическое стрессовое расстройство, — и что это слово описывает то, что она видит в Адриане, точнее, чем все алхимические трактаты Изольды вместе взятые. Но в Корвале не было психотерапевтов, и не было слов для того, что происходит с человеком, когда его сердце медленно превращается в камень, и поэтому Адриан носил перчатку, и хромял, и ел последним, и стоял на стене до рассвета, и не позволял никому видеть, как он задыхается, когда кристаллы сжимают его сердце, как кулак сжимает горсть песка.

— Кассьен, — сказала она, и её голос прозвучал тише, чем она хотела. — Сколько ему осталось?

Кассьен посмотрел на неё. В его глазах больше не было ни шуток, ни ухмылок. Была только правда — голая, холодная, как ветер на стенах Гримвальда.

— Изольда говорит — год. Может, два. Если повезёт. — Он допил вино и поставил кубок на стол с такой силой, что вино плеснулось на скатерть, красное, как кровь. — А я говорю — клянусь угасшим пламенем, я не знаю. И не хочу знать. Потому что если я узнаю, я сойду с ума, а я нужен ему в здравом уме, чтобы хотя бы кто-то тащил его с поля боя, когда он в очередной раз решит, что его жизнь стоит меньше, чем жизнь последнего рядового.

Он встал, взял свой длинный нож, подмигнул Еве — ухмылка вернулась, но теперь она была другой, тоньше, хрупче, как трещина, заклеенная клеем, который вот-вот высохнет, — и сказал:

— Спокойной ночи, мэтресс. И не говори ему, что я тебе рассказал. Он меня убьёт, а потом воскреснет, чтобы убить ещё раз, и я не хочу проходить через это дважды.

Приступ случился через три ночи.

Ева спала — некрепко, урывками, как спят люди, которые привыкли к тишине и которых любой шорох выдёргивает из сна, как пробку из бутылки, — когда её разбудил крик.

Не крик солдата на стене. Не крик часового, заметившего тень. А крик из башни — из той самой башни на восточном углу крепости, где были покои Адриана, и где он запирался каждую ночь, и откуда, по словам Кассьена, «иногда доносятся звуки, от которых у стражи волосы встают дыбом, но никто не смеет постучать, потому что последний, кто постучал, теперь несёт дозор на самой холодной стене и проклинает свою храбрость».

Крик был коротким, хриплым, сдавленным, как крик человека, которому наступили на горло, и в нём не было ни зова, ни просьбы, а была только боль — чистая, концентрированная, невыносимая, как кислота, разъедающая металл.

Ева вскочила с кровати. Ноги босые, свитер на голое тело, очки на тумбочке — она схватила их на бегу, надела кривыми, выбежала в коридор. Коридор был пуст, факелы горели синим пламенем, тени на стенах метались, как живые, и из башни доносился второй крик — тише первого, но страшнее, потому что в нём был не крик, а хрип, и хрип этот звучал так, словно человек задыхается, словно его горло сжимает невидимая рука, и он пытается вдохнуть, и не может, и каждый вдох — это пытка, и каждый выдох — это молитва.

Ева бежала. По коридору, по лестнице, через двор, к башне. Камень под босыми ногами был ледяным, и каждый шаг отдавался в пятках, как удар молотка, но она не замечала холода, не замечала ветра, не замечала того, что её свитер задёргался на плечах, обнажая ключицы,

и что стражник у двери башни посмотрел на неё с таким ужасом, словно она была тенью, а не чужестранкой.

— Открой! — крикнула она, и стражник, то ли узнав её, то ли испугавшись её тона, который не допускал возражений, распахнул дверь.

Лестница башни — винтовая, узкая, каменная, семьдесят две ступени, Ева считала их автоматически, потому что мозг реставратора считает всё, даже когда сердце колотится так, что рёбра трещат. Наверху — дверь. Дубовая, окованная железом, запертая изнутри. За дверью — хрип, и стон, и звук, от которого у Евы встали дыбом волосы: звук ломающегося камня, тихий, хрустящий, как треск льда на реке весной.

Ева ударила в дверь плечом. Дверь не поддавалась. Она ударила ещё раз, и ещё, и ещё, и на четвёртый удар что-то хрустнуло — не дверь, а её плечо, — и она закричала от боли, но не остановилась, и на пятый удар замок, старый, ржавый, не рассчитанный на то, что в него будет биться двадцатисемилетняя женщина в свитере и босиком, сдался, и дверь распахнулась, и Ева влетела в комнату Адриана, и замерла.

Он был на полу.

Скрученный, как лист бумаги, брошенный в огонь. Левая рука — та самая, в перчатке, — вывернута под неестественным углом, и перчатка сползла, и Ева увидела его кисть — бледную, с чёрными прожилками, расходящимися от запястья, как корни дерева, вросшего в плоть, как мороз на стекле, как трещины на фарфоре, который вот-вот рассыплется. Чёрные прожилки поднимались по предплечью, уходили под рукав камзола, и Ева знала — знала с той холодной, профессиональной уверенностью, которая не оставляет места для сомнений, — что они идут дальше, по плечу, по шее, к груди, к сердцу, и что сердце его сейчас сжимается, как кулак, и что кристаллы в его крови растут, и что он умирает, и что если она ничего не сделает прямо сейчас, через минуту, через тридцать секунд, — он умрёт.

Она не думала. Она действовала.

Лаборатория была этажом ниже. Ева пробежала по лестнице — семьдесят две ступени, вниз быстрее, чем вверх, босые ноги скользили по камню, и она чуть не упала, и поймала себя за перила, и побежала дальше, — влетела в лабораторию, схватила ртутный раствор — тяжёлая колба, серебряная жидкость, пахнущая металлом, — и серную настойку — маленькая склянка, красная, горячая на ощупь, — и бросилась обратно, вверх, семьдесят две ступени, и её лёгкие горели, и её плечо горело, и её босые ноги были в крови от порезов о камень, но она не замечала ничего, кроме хрипа за дверью, который становился тише, тише, тише, как затухающее пламя свечи.

Она влетела в комнату, упала на колени рядом с Адрианом, схватила его за подбородок — его лицо было белым, как мел, губы синие, глаза закатились, — разжала его челюсти, влила ртутный раствор, потом серную настойку, и состав зашипел у него в горле, как кислота на металле, и Адриан дёрнулся, и захрипел, и его тело выгнулось дугой, и чёрные прожилки на его руке вспыхнули тусклым фиолетовым светом, и Ева прижала его плечи к полу, и крикнула — не на корвальском, не на русском, а на языке, который не существует ни в одном мире, на языке чистого отчаяния:

— Дыши! Дыши, ты, каменный упрямец, дыши!

И он вдохнул.

Резко, судорожно, с хрипом, как тонущий, которого вытащили из воды в последнюю секунду. Его грудь вздыбилась, его глаза открылись — серые, мутные, невидящие, — и он посмотрел на Еву, и в его взгляде был ужас, и стыд, и ярость, и что-то ещё, что Ева не могла разобрать, потому что её собственные глаза застилала пелена, и её руки дрожали, и её сердце колотилось так, что она думала — оно выскочит из груди и укатится по каменному полу, как мячик.

Адриан пришёл в себя через минуту. И первое, что он сделал, — оттолкнул Еву.

Сильно, резко, с такой яростью, что она отлетела к стене и ударилась затылком о камень. Его голос, когда он заговорил, был хриплым, надломленным, но в нём была сталь — та самая сталь, из которой ковали его прозвище и его стены.

— Вон! — крикнул он, и слово это ударило Еву, как пощёчина. — Вон из моей башни! Никто не должен видеть! Никто! Ты понимаешь?! Никто!

Ева сидела на полу, прижавшись спиной к стене, и смотрела на него. Он стоял на коленях, сгорбленный, с левой рукой, прижатой к груди, и его перчатка лежала на полу, и его кисть была обнажена, и чёрные прожилки на ней пульсировали, как вены, наполненные не кровью, а пеплом. Он дышал тяжело, с хрипом, и его лицо было мокрым — от пота, от боли, и от чего-то ещё, что Ева опознала с той безошибочной точностью, с которой реставратор опознаёт следы слёз на старинном пергаменте, даже если слёзы высохли шестьсот лет назад.

Он плакал.

Адриан де ла Верн, лорд-маршал Северного Рубежа, Каменный Пёс, человек, который три дня держал горный проход против сотни теней, — плакал. Тихо, по-мужски, отвернувшись к стене, сжав зубы так, что скулы побелели, и слёзы текли по его лицу, как дождь по скале, — неслышно, невидимо, стыдно, как плачут люди, которые считают слёзы слабостью, а слабость — позором, и которые не умеют плакать иначе, как в одиночестве, в запертой башне, в темноте, когда никто не видит и никто не слышит, и когда можно позволить себе быть не стеной, а человеком, хотя бы на минуту, хотя бы на тридцать секунд, пока кристаллы не отступили и сердце снова не начало биться ровно.

Ева не ушла.

Она встала, подошла к нему — медленно, осторожно, как подходят к раненому зверю, который может укусить, но которому больнее, чем тебе, — и села на пол рядом с ним. Не напротив, не лицом к лицу, а рядом, плечом к плечу, спиной к стене, чтобы он не чувствовал, что на него смотрят, чтобы он не чувствовал, что его видят слабым, чтобы он мог плакать, не пряча лица, потому что она не смотрела на его лицо, она смотрела на стену, и её плечо касалось его плеча, и это было всё, что она могла ему дать в этот момент, — не слова, не лекарство, не сочувствие, а просто присутствие, просто тепло, просто плечо, о которое можно опереться, когда твоё сердце превращается в камень и ты не знаешь, как долго ты ещё выдержишь.

Они сидели так долго. Минуту. Десять. Час. Ева не считала. За окном выла вьюга — северная, злая, с ледяными иглами, которые били в стекло, как стрелы, — и в комнате было холодно, и свеча на столе догорала, и тени на стенах становились длиннее, и Адриан постепенно перестал дрожать, и его дыхание выровнялось, и его левая рука, лежавшая на колене, разжалась, и чёрные прожилки на его кисти потускнели, как тлеющие угли, которые залили водой.

Он не поблагодарил её. Он не извинился. Он не сказал ни слова. Но он не прогнал её, и это было больше, чем слова, больше, чем благодарность, больше, чем извинение, потому что для человека, который всю жизнь прятал свои трещины, позволить кому-то увидеть их и не оттолкнуть этого кого-то — это подвиг, равный трём дням в горном проходе.

Когда свеча догорела и в комнате осталась только тьма и вой ветра, Адриан заговорил. Тихо, хрипло, глядя в стену, не поворачивая головы.

— То, что вы видели, — проклятие. Оно убьёт меня через год. Может, через два. Изольда говорит — через два, если повезёт. Я не верю в везение, поэтому считаю — через год.

Ева молчала.

— Если вы расскажете кому-нибудь, — продолжил он, и в его голосе вернулась сталь, — я вас убью. Если вы попытаете лечить — я вас убью. Если вы уйдёте — я вас не остановлю, и вы будете свободны, и сможете вернуться в свой мир с картонными королями, и забыть, что видели.

Ева повернула голову и посмотрела на него. В темноте она не видела его лица, но видела ## — плечи, голову, линию шеи, и то, как его левая рука прижата к груди, и то, как его пальцы сжимают ткань камзола, и то, как его дыхание ещё дрожит, как пламя свечи на ветру.

— А если я останусь? — спросила она тихо.

Молчание. Долгое, тяжёлое, как камень, который вот-вот упадет с горы.

— Тогда вы будете глупой, — сказал Адриан, и в его голосе, за слоями стали и усталости, мелькнуло что-то хрупкое, что-то живое, что-то похожее на надежду, которую он давно похоронил и которая сейчас, вопреки всем законам алхимии и здравого смысла, шевельнулась в его груди, как подснежник под снегом. — Глупой, упрямой, безумной чужестранкой, которая не знает, во что ввязывается.

— Я знаю, — сказала Ева. — Я реставратор. Я ввязываюсь в сломанные вещи каждый день. Это моя работа.

Адриан не ответил. Но его плечо, касавшееся её плеча, чуть расслабилось — едва заметно, на миллиметр, — и Ева почувствовала это, как реставратор чувствует, что клей схватился, что трещина держится, что вещь, которую она чинит, ещё не рассыпалась, и что, может быть, если она будет достаточно терпелива, достаточно осторожна, достаточно упряма, — она починит и это.

За окном выла вьюга. Где-то далеко, за горами, за Пустошами, за всем, что Ева ещё не знала, шумело море. В комнате было темно, холодно, и пахло серой, ртутью и слезами, которые уже высохли, но оставили следы на щеках, как соль на камне.

Ева достала из кармана пергамент и карандаш — она носила их с собой всегда, даже ночью, даже во сне, потому что привычка — вторая натура, а у реставратора привычек больше, чем трещин в стенах Гримвальда, — и в темноте, на ощупь, добавила штрих к штрихам, которых было уже тридцать четыре.

«День 34», — написала она, и подумала, и зачеркнула «жива, пока», и написала вместо этого: «Он тоже жив. Пока».

Это было начало. Не лечения — лечение начнётся позже, когда она разберётся в алхимии проклятия и поймёт, что кристаллизация — не магия, а химия, и что Закон Эквивалентности работает в обоих направлениях, и что за каждую каплю жизни, которую она вольёт в его кровь, она заплатит каплей своей.

Это было начало чего-то другого. Чего-то, что не имело названия ни в корвальском, ни в русском, ни в языке алхимических жестов, и что Изольда, если бы видела их сейчас, сидящих спина к спине в тёмной башне, назвала бы одним словом — «беда».

Но Изольда не видела. И Кассьен не видел. И никто не видел.

Были только они двое, и вьюга за окном, и сердце Адриана, которое билось в его груди, как треснувший колокол, — неровно, хрипло, но билось, и пока оно билось, зима в его груди не победила, и весна была возможна, и Ева сидела рядом, и её плечо касалось его плеча, и её пергамент был в её руке, и её карандаш был острым, и её трещины совпадали с его трещинами, как совпадают страницы разорванной книги, если сложить их правильно.

Всё, что можно починить, — уже не сломано до конца.

А его сердце ещё билось.

Значит — не до конца.

Факел в коридоре мигнул, погас и зажёгся снова. Ночь в Гримвальде продолжалась. Но в башне на восточном углу крепости, в комнате, пахнувшей серой и слезами, два человека сидели на каменном полу, спина к спине, и молчали, и это молчание было громче любых слов, и теплее любого огня, и прочнее любого клея, которым Ева когда-либо склеивала трещины.

Первый акт её жизни в Корвале закончился.

Второй — только начинался.

Глава 5

Алхимия и упрямство

Если бы Адриан де ла Верн знал, что его угрозы подействуют на Еву Миронову примерно так же, как дождь на камень, — то есть никак, — он, вероятно, не стал бы тратить на них дыхание. Но он не знал. Он думал, что сказал достаточно: «Если вы попыгаете лечить — я вас убью». Для лорда-маршала Северного Рубежа, привыкшего к тому, что его слова падают на людей, как топоры на шеи, это было исчерпывающим аргументом.

Для реставратора из Исторического музея, привыкшей к тому, что самые упрямые трещины — в самых ценных книгах, — это было началом переговоров.

Ева начала на следующее утро после ночи в башне. Не потому, что она была храброй — храбрость подразумевает осознание опасности, а Ева пока не до конца осознавала, во что ввязывается, — а потому, что она была профессионалом. А профессионал, увидев сломанную вещь, не может пройти мимо, даже если вещь рычит на него, угрожает убийством и прячет свои трещины под перчаткой. Это не героизм. Это деформация. Профессиональная деформация — самая неизлечимая из всех.

Лаборатория стала её вторым домом. Первым оставалась комната с двумя окнами и камином, но Ева проводила в ней только ночи, да и то не все, потому что сон — это роскошь, которую реставраторы позволяют себе только тогда, когда клей сохнет, а у Евы клей не сох никогда. Она запиралась в подвале восточной башни с рассвета до заката, окружённая колбами, ретортами, сушилками и ящиками с минералами, и работала с тем сосредоточенным остервенением, с которым в Москве реставрировала кодексы, от которых уцелели одни обрывки.

Первым делом она разобралась в алхимической системе Корваля. Это оказалось проще, чем она ожидала: три первичные субстанции — Соль, Ртуть, Сера — совпадали с алхимическими концепциями её собственного мира, только в Корвале они были не теорией, а практикой. Соль — твёрдое, неподвижное, минеральное. Ртуть — жидкое, текучее, изменчивое. Сера — горячее, живое, движущее. Здоровый человек — равновесие трёх. Болезнь — дисбаланс. Смерть — распад связи.

Ева читала трактаты Изольды запоем, делая пометки на полях своим мелким почерком, и чем больше читала, тем яснее видела картину. Проклятие Адриана — не магия. Не проклятие в том смысле, в каком его понимают в сказках, — не злой колдун, не тёмное заклинание, не кара небесная. Это алхимическая реакция. Химический процесс, запущенный кровью Теневого Короля, которая попала в открытые раны Адриана три года назад и с тех пор медленно, неуклонно, необратимо трансмутирует его кровь из Ртути в Соль.

Жидкое становится твёрдым. Кровь становится камнем. Сердце становится кристаллом.

Ева сидела за столом в лаборатории, окружённая открытыми трактатами, и рисовала на пергаменте схему — ту самую схему, которую она нарисовала бы в Москве, если бы ей принесли образец крови с аномальной минерализацией. Кровь Адриана была перенасыщена минералами — кальцием, кремнием, какими-то неизвестными ей кристаллическими соединениями, которых не существовало в таблице Менделеева, но которые в Корвале назывались «пепельными солями» и считались побочным продуктом алхимии Теневого Короля. Эти соли вытесняли Ртуть — жидкую основу крови, — как лёд вытесняет воду из замерзающего озера, и чем больше солей, тем меньше жидкости, тем гуще кровь, тем тяжелее сердцу качать её, тем ближе конец.

Третья стадия, — написала Ева на полях схемы, обводя цифру красными чернилами. Полная кристаллизация. Сердце — камень. Смерть. Срок без лечения — двенадцать-восемнадцать месяцев. Срок с лечением —

Она остановилась. Перо зависло над пергаментом. Потому что «с лечением» предполагало, что лечение существует, а Ева ещё не знала, существует ли оно, и если существует, то какова его цена, и готова ли она эту цену заплатить, и не порежет ли она пальцы об осколки, как предупреждала Изольда.

Но она знала одно: без лечения Адриан умрёт через год. С лечением — может быть — через семь, через десять. Не излечение. Отсрочка. Замедление кристаллизации. Связывание пепельных солей до того, как они доберутся до сердца.

Для этого нужен состав. Ртутно-серный раствор, обогащённый катализатором, который свяжет минералы в крови и не даст им расти. Ева знала, как его сделать — теоретически. Практически — ей нужны были образцы крови Адриана, чтобы проверить, как состав взаимодействует с его конкретным проклятием, с его конкретной алхимической «частотой», с его конкретным балансом Соли, Ртути и Серы.

Проблема была в том, что Адриан скорее отрубит себе руку, чем позволит ей взять его кровь для анализа. Он сказал это ясно: «Если вы попытаетесь лечить — я вас убью». И хотя Ева подозревала, что он не выполнит эту угрозу, проверить не хотелось.

Поэтому она пошла к Кассьену.

Кассьен сидел в оружейной, чистя свой длинный нож — тот самый, который был длиннее его предплечья и который он называл «Три Мушкетёра» в честь трёх оставшихся пальцев, — когда Ева вошла, закрыла за собой дверь и сказала, без предисловий, на корвальском, который за месяц стал почти беглым:

— Мне нужна его кровь.

Кассьен поднял бровь. Нож замер в воздухе.

— Чья?

— Адриана. Три пробирки. Утром, до завтрака, когда кровь чистая и не отравлена его утренним кофеином, которого у вас, к счастью, нет, но есть разбавленное вино, что почти то же самое.

Кассьен посмотрел на неё долгим, оценивающим взглядом, в котором ухмылка боролась с тревогой и пока проигрывала.

— Ты знаешь, что он сказал про лечение?

— Знаю. «Убью». Очень убедительно. Но он также сказал «в пределах разумного», когда давал мне ключ от лаборатории, и я считаю, что спасение его жизни — в пределах разумного, даже если он считает иначе.

— Он тебя убьёт, — сказал Кассьен, но в его голосе не было уверенности, а было что-то другое — надежда, тонкая и хрупкая, как лезвие его ножа. — А потом убьёт меня, потому что это я дал тебе кровь.

— Не дашь — он умрёт через год. Дашь — он может прожить десять лет. Выбирай.

Кассьен молчал. Он смотрел на свой нож, на три пальца левой руки, на Еву, стоящую перед ним в подшитых мужских штанах и с очками, сдвинутыми на лоб, и в его голубых глазах шла война — между верностью командиру, который запретил лечение, и верностью другу, которого он не хотел хоронить.

Война закончилась через десять секунд. Кассьен вздохнул, убрал нож в ножны и сказал:

— Три пробирки. Утром. Я скажу, что это для анализа на тени — он поверит, потому что тени его не пугают, а врачи пугают до смерти. Но если он узнает, что это для лечения, я скажу, что ты меня соблазнила.

— Ты серьёзно?

— Я всегда серьёзен, когда речь идёт о моей шкуре. — Кассьен ухмыльнулся, и ухмылка была той самой, знакомой, рыжей, бесшабашной, от которой Ева впервые улыбнулась в допросной комнате. — Завтра утром, мэтресс. Три пробирки. И клянусь угасшим пламенем, если ты его вылечишь, я назову своего первого сына в твою честь.

— У тебя нет жены.

— Это деталь.

Три пробирки крови Адриана де ла Верна оказались на столе Евы на следующее утро, завернутые в промасленную тряпку и спрятанные в корзине с бельём, которую Кассьен притащил в лабораторию с видом заговорщика, крадущего корону.

Ева закрыла дверь на засов, зажгла все лампы и начала работу.

Кровь Адриана была не такой, как нормальная кровь. На вид — тёмная, почти чёрная, густая, как сироп, с металлическим запахом, в котором примесь железа тонула в чём-то минеральном, пепельном, как запах камня после дождя. Когда Ева капнула её на стеклянную пластину и посмотрела через лупу, она увидела то, что заставило её сердце пропустить удар: кристаллы. Крошечные, микроскопические, но отчётливые — игольчатые структуры, вросшие в красные кровяные тельца, как мороз врос в стекло, как корни дерева вросли в фундамент дома, медленно, неуклонно, разрушая его изнутри.

Третья стадия, — подумала Ева, и холод пробежал по её спине, хотя в лаборатории было жарко от ламп. Он уже на пороге третьей стадии. Кристаллы в крови. Ещё немного — и они доберутся до сердечной мышцы. И тогда...

Она не додумала. Не потому, что боялась, а потому, что время — ресурс, который реставраторы не тратят на страх. Она взяла первую пробирку, добавила ртутный раствор, серную настойку и каплю собственного состава — того самого, который она начала разрабатывать три ночи назад, на основе формул из трактата Изольды и собственных знаний химии, — и поставила смесь на медленный огонь.

Реакция началась через минуту. Кристаллы в крови зашипели, как лёд на раскалённой сковородке, и начали растворяться — медленно, неохотно, но растворяться. Чёрная кровь посветлела, стала красной, почти нормальной, и Ева, глядя на это, почувствовала то, что чувствовала в Москве, когда удавалось разделить две слипшиеся страницы кодекса, не порвав ни одну: торжество. Тихое, профессиональное, абсолютное.

Но торжество длилось ровно до того момента, когда она посмотрела на свою руку.

Пальцы, державшие пробирку, побелели. Не от холода — от слабости. Лёгкое онемение, покалывание в кончиках, как от электрического разряда, и Ева поняла, с той холодной ясностью, которая приходит к алхимикам, когда они впервые сталкиваются с Законом Эквивалентности в действии: состав работает. Но он берёт плату. Её жизненная сила — её Сера, её огонь — переходит в раствор, связывая кристаллы в крови Адриана, и каждая капля его исцеления стоит капли её жизни.

Она посмотрела на свои пальцы. Потом на пробирку с посветлевшей кровью. Потом на пергамент со схемой проклятия, на котором она написала «срок с лечением — семь-десять лет».

Семь-десять лет для него. Сколько для неё? Она не знала. Закон Эквивалентности не давал точных цифр — он давал только принцип: ничто не даётся даром. И Ева, реставратор, привыкшая платить за чужие книги собственным зрением, собственными пальцами, собственными ночами, проведёнными в подвале, — приняла эту цену так же спокойно, как принимала все цены в своей жизни: молча, без жалоб, без пафоса, с той упрямой покорностью, которая отличает людей, давно решивших, что их жизнь — расходный материал для чужого спасения.

Она спрятала побелевшие пальцы в рукава свитера и продолжила работу.

Адриан узнал через неделю.

Разумеется, он узнал. Адриан де ла Верн не был глупым человеком — он был лордом-маршалом, стратегом, командиром, который выигрывал битвы не силой, а умом, и который замечал детали не хуже Евы, хотя и в другой области. Он заметил, что Кассьен ведёт себя подозрительно — прячет глаза, исчезает по утрам, пахнет лабораторией, хотя в лаборатории не был со времён своего неудачного эксперимента с порохом, закончившегося выгоревшими

бровями и двухнедельным нарядом на чистку конюшен. Он заметил, что Ева проводит в лаборатории больше времени, чем в своей комнате, и что под её глазами залегли тени, которых не было месяц назад, и что она прячет руки в рукава, даже когда в лаборатории жарко. И он заметил — самое главное — что после приступов, которые раньше оставляли его полумёртвым на сутки, он теперь приходит в себя за час, и что чёрные прожилки на его груди перестали расплзаться, и что его сердце бьётся ровнее, чем за последние два года.

Он не был благодарен. Он был в ярости.

Сцена произошла в лаборатории, вечером, когда Ева была одна и работала над новой порцией состава, и дверь распахнулась с такой силой, что колба на столе подпрыгнула и чуть не разбилась.

Адриан стоял в проёме, и его лицо было таким, что Ева, выдавшая его в ночь приступа, в ночь отравления колодца и в ночь, когда тени прорвались через северные ворота, — испугалась. Не его гнева — гнев она видела и раньше, — а его страха. Потому что за яростью в его серых глазах был страх — тот самый, животный, иррациональный страх человека, который понял, что кто-то проник за его стены, за его перчатки, за его молчание, и увидел то, что он прятал три года, и пытается это починить, и от этого хочется не благодарить, а кричать, потому что починка означает надежду, а надежда — это самое страшное, что может случиться с человеком, который давно решил, что он мёртв.

— Что вы делаете? — спросил он, и голос его был тихим, как перед бурей, и от этой тишины у Евы встали дыбом волосы на затылке.

Ева не стала врать. Врать Адриану было бесполезно — он читал ложь, как она читала палимпсесты, видя старый текст под новым.

— Лечу вас, — сказала она, не поднимая глаз от колбы. — Точнее, замедляю кристаллизацию. Ваш состав крови перенасыщен пепельными солями, которые вытесняют Ртуть и превращают ваше сердце в камень. Мой состав связывает соли и не даёт им расти. Это не излечение. Это отсрочка. Семь-десять лет, если повезёт.

Адриан вошёл в лабораторию, закрыл дверь за собой и подошёл к столу. Его движения были медленными, контролируемыми, как движения человека, который боится, что если он двинется быстрее, то разнесёт всё вокруг, — и Ева отметила про себя, что его левая рука сжата в кулак, и перчатка скрипит, и костяшки побелели.

— Я сказал вам не лечить меня, — сказал он, и каждое слово падало на каменный пол, как капля свинца.

— Сказали.

— Я сказал, что убью вас, если вы попробуете.

— Сказали. Но не убили. Значит, угроза была риторической.

— Не испытывайте моё терпение, мэтресс.

— Не испытываю. Я испытываю состав. И он работает. — Ева наконец подняла глаза и посмотрела на него — прямо, спокойно, с той упрямой ясностью, которая бесила его больше, чем дерзость, больше, чем неповиновение, больше, чем всё, что он когда-либо встречал в людях. — Ваши приступы стали слабее. Прожилки перестали расплзаться. Пульс выровнялся. Вы это чувствуете. Не отрицайте.

Адриан ударил кулаком по столу.

Колба подпрыгнула и разбилась. Ртутный раствор разлился по пергаменту, заливая схему проклятия, и Ева ахнула — не от страха, а от жалости к пергаменту, потому что она потратила на эту схему три ночи, и теперь она была испорчена, и это было обиднее, чем если бы Адриан ударил её.

— Вы не имеете права! — крикнул он, и в его голосе прорвалась та самая трещина, которую Ева слышала в башне, в ночь приступа, — трещина между лордом-маршалом и человеком, между стеной и тем, кто за ней прячется. — Вы не имеете права решать за меня! Вы не

имеете права лезть в мою кровь, в моё тело, в моё проклятие, как лезут в чужую книгу, чтобы склеить страницы, которые не хотят быть склеенными! Я не книга, Ева! Я не ваш проект! Я не ваша трещина!

Ева встала. Она была ниже его на голову, и ей пришлось задрать подбородок, чтобы смотреть ему в глаза, и от этого она чувствовала себя ещё упрямее, чем обычно, потому что упрямство — это единственное оружие, которое работает, когда ты маленькая, чужая и безоружная.

— Вы правы, — сказала она, и её голос был тихим, но твёрдым, как сталь, закалённая в ледяной воде. — Вы не книга. Книги не кричат на реставраторов. Книги не угрожают убийством. Книги просто лежат и ждут, пока их починят, и не жалуются, что клей слишком горячий. Но вы — не книга, и вы — не стена, и вы — не Каменный Пёс, и я не собираюсь вас «чинить», как чинят мебель. Я собираюсь дать вам время. Десять лет. Десять лет, в течение которых ваше сердце будет биться, а не хрустеть, как лёд под сапогом. А что вы сделаете с этим временем — ваше дело. Умрёте на стене — умрёте. Проживёте до старости — проживёте. Но решение будет вашим, а не проклятия.

Адриан замер. Его кулак, занесённый для второго удара по столу, повис в воздухе. Его серые глаза расширились — не от гнева, а от удивления, от того странного, ошеломляющего удивления, которое охватывает человека, когда ему говорят правду, которую он не хочет слышать, но которая попадает точно в трещину, в самое больное место, в самую глубокую рану, и от этого хочется не кричать, а молчать, и не бить, а стоять, и не убегать, а остаться.

Молчание длилось десять секунд. Двадцать. Тридцать. Лампы в лаборатории шипели, ртуть на столе медленно стекала на пол, и запах серы смешивался с запахом чернил, который всё ещё держался в волосах Евы, несмотря на месяц в чужом мире, несмотря на уксус, несмотря на дым и пот и кровь.

Адриан опустил руку. Его кулак разжался. Перчатка скрипнула.

— Сколько это стоит? — спросил он тихо, и вопрос этот был не о деньгах, и Ева поняла это мгновенно.

— Что именно?

— Лечение. Состав. Отсрочка. Сколько это стоит вам?

Ева спрятала руки в рукава. Быстро, машинально, как прячут улику, но Адриан заметил — он замечал всё, проклятый стратег, — и его взгляд стал острым, как лезвие кинжала.

— Ева.

— Ничего, — сказала она, и это была ложь, и оба это знали.

— Не лгите мне. — Его голос стал ещё тише, и в этой тишине была не угроза, а просьба, и от этой просьбы у Евы сжалось горло. — Я вижу ваши руки. Я вижу тени под вашими глазами. Я вижу, что вы похудели. Я не идиот, мэтресс. Закон Эквивалентности — первый закон алхимии. Ничто не даётся даром. Сколько?

Ева молчала. Она смотрела на него — на его серые глаза, на шрам на скуле, на седину у висков, на чёрные прожилки, виднеющиеся из-под расстёгнутого ворота камзола, — и думала о том, что он прав, что Закон Эквивалентности неумолим, что каждая капля его исцеления стоит капли её жизни, и что она не может сказать ему об этом, потому что если она скажет, он запретит лечение, и тогда он умрёт через год, и тогда все её жертвы будут напрасны, и тогда она останется одна в чужом мире, без него, без дома, без пути назад, и от этой мысли ей стало так холодно, что она почувствовала, как зима из его сердца перекинулась в её собственное, как пламя перекидывается с одной свечи на другую.

— Достаточно, чтобы стоило, — сказала она наконец, и это была не ложь, но и не правда, а что-то среднее, что-то алхимическое, что-то, что существует между Солью и Ртутью, между правдой и милосердием, между жизнью и смертью. — И это не ваше дело. Это моё. Я реставратор. Я плачу за свою работу сама. Это профессиональный принцип.

Адриан смотрел на неё долго. Потом отвернулся, подошёл к двери, взялся за ручку и сказал, не оборачиваясь, голосом, в котором ярость уступила место чему-то другому — чему-то хрупкому, чему-то живому, чему-то, что Ева позже назовёт благодарностью, смешанной с ужасом:

— Вы упрямы, как горный мул.

— Спасибо, — сказала Ева. — Это комплимент в моём мире.

— В моём мире горных мулов сбрасывают со скалы за упрямство.

— Тогда хорошо, что мы не в горах.

Адриан не ответил. Дверь закрылась за ним, и его шаги затихли на лестнице, и Ева осталась одна в лаборатории, с разбитой колбой, с разлитой ртутью, с испорченной схемой и с руками, которые дрожали так, что она не могла сжать кулак.

Она села на стул, спрятала лицо в ладони и позволила себе тридцать секунд слабости — ровно тридцать, не больше, потому что реставраторы не тратят время на слёзы, а тратят его на клей. Потом она вытерла лицо рукавом, встала, взяла новую колбу и начала готовить состав заново.

Изольда пришла на следующий день.

Она вошла в лабораторию без стука — привилегия целительницы, которая лечит гарнизон двадцать лет и не считает нужным стучаться в двери, за которыми пахнет серой и упрямством, — и застала Еву за столом, окружённую пробирками, с седой прядью у виска, которой не было неделю назад, и с руками, которые она по-прежнему прятала в рукава.

Изольда не сказала ни слова о седине. Она не сказала ни слова о руках. Она села на стул напротив Евы, поставила трость рядом с собой, достала из кармана флягу с травяным чаем, отпила глоток и сказала, с той спокойной, убийственной прямоотой, которая делала её страшнее любого лорда-маршала:

— Ты знаешь историю мэтра Серафима?

Ева подняла голову.

— Теневого Короля? Знаю. Кассьен рассказывал. Он был алхимиком, его жена умерла, он попытался её воскресить, нарушил Закон Необратимости, и всё пошло не так.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.